

П. Я. Чаадаев

Философические письма

Письмо первое

Да придет Царствие Твое. (Евангелие от Матфея, VI, 10).

Сударыня,

Именно ваше чистосердечие и ваша искренность нравятся мне всего более, именно их я всего более ценю в вас. Судите же, как должно было удивить меня ваше письмо. Этими прекрасными качествами вашего характера я был очарован с первой минуты нашего знакомства, и они-то побуждали меня говорить с вами о религии. Все вокруг нас могло заставить меня только молчать. Посудите же еще раз, каково было мое изумление, когда я получил ваше письмо! Вот все, что я могу сказать вам по поводу мнения, которое, как вы предполагаете, я составил себе о вашем характере. Но не будем больше говорить об этом и перейдем немедленно к серьезной части вашего письма.

Во-первых, откуда эта смута в ваших мыслях, которая вас так волнует и так изнуряет, что, по вашим словам, отразилась даже на вашем здоровье? Ужели она - печальное следствие наших бесед? Вместо мира и успокоения, которое должно было бы принести вам новое чувство, пробужденное в вашем сердце, - оно причинило вам тоску, беспокойство, почти угрызение совести. И однако, должен ли я этому удивляться? Это - естественное следствие того печального порядка вещей, во власти которого находятся у нас все сердца и все умы. Вы только поддались влиянию сил, господствующих здесь надо всеми, от высших вершин общества до раба, живущего лишь для утех своего господина.

Да и как могли бы вы устоять против этих условий? Самые качества, отличающие вас от толпы, должны делать вас особенно доступной вредному влиянию воздуха, которым вы дышите. То небольшое, что я позволил себе сказать вам, могло ли дать прочность вашим мыслям среди всего, что вас окружает? Мог ли я очистить атмосферу, в которой мы живем? Я должен был предвидеть последствия, и я их действительно предвидел. Отсюда те частые умолчания, которые, конечно, всего менее могли внести уверенность в вашу душу и естественно должны были привести вас в смятение. И не будь я уверен, что, как бы сильны ни были страдания, которые может причинить не вполне пробудившееся в сердце религиозное чувство, подобное состояние все же лучше полной летаргии, - мне оставалось бы только раскаяться в моем решении. Но я надеюсь, что облака, застилающие сейчас ваше небо, претворятся со временем в благодатную росу, которая оплодотворит семя, брошенное в ваше сердце, а действие, произведенное на вас несколькими незначительными словами, служат мне верным залогом тех еще более важных последствий, которые без сомнения повлечет за собою работа вашего собственного ума. Отдавайтесь безбоязненно душевным движениям, которые будет пробуждать в вас религиозная идея: из этого чистого источника могут вытекать лишь чистые чувства.

Что касается внешних условий, то довольствуйтесь пока сознанием, что учение, основанное на верховном принципе единства и прямой передачи истины в непрерывном ряду его служителей, конечно, всего более отвечает истинному духу религии; ибо он всецело сводится к идее слияния всех существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство, и к постепенному установлению

такой социальной системы или церкви, которая должна водворить царство истины среди людей. Всякое другое учение уже самым фактором своего отпадения от первоначальной доктрины заранее отвергает действие высокого завета Спасителя: Отче святой, соблюди их, да будут едино, якоже и мы, и не стремится к водворению Царства Божия на земле. Из этого, однако, не следует, чтобы вы были обязаны исповедовать эту истину перед лицом света: не в этом, конечно, ваше призвание. Наоборот, самый принцип, из которого эта истина исходит, обязывает вас, ввиду вашего положения в обществе, признавать в ней только внутренний светоч вашей веры, и ничего более. Я счастлив, что способствовал обращению ваших мыслей к религии; но я был бы весьма несчастлив, если бы вместе с тем поверг вашу совесть в смущение, которое с течением времени неминуемо охладило бы вашу веру.

Я, кажется, говорил вам однажды, что лучший способ сохранить религиозное чувство - это соблюдать все обряды, предписываемые церковью. Это упражнение в покорности, которое заключает в себе больше, чем обыкновенно думают, и которое величайшие умы возлагали на себя сознательно и обдуманно, есть настоящее служение Богу. Ничто так не укрепляет дух в его верованиях, как строгое исполнение всех относящихся к ним обязанностей. Притом большинство обрядов христианской религии, Внушенных высшим разумом, обладают настоящей животворной силой для всякого, кто умеет проникнуться заключенными в них истинами. Существует только одно исключение из этого правила, имеющего в общем безусловный характер, - именно когда человек ощущает в себе верования высшего порядка сравнительно с теми, которые исповедует масса, - верования, возносящие дух к самому источнику всякой достоверности и в то же время нисколько не противоречащие народным верованиям, а, наоборот, их подкрепляющие; тогда, и только тогда, позволительно пренебрегать внешнею обрядностью, чтобы свободнее отдаваться более важным трудам. Но горе тому, кто иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего ума принял бы за высшее просветление, которое будто бы освобождает его от общего закона! Вы же, сударыня, что вы можете сделать лучшего, как не облечься в одежду смирения, которая так к лицу вашему полу? Поверьте, это всего скорее умиротворит ваш взволнованный дух и прольет тихую отраду в ваше существование.

Да и мыслим ли, скажите, даже с точки зрения светских понятий, более естественный образ жизни для женщины, развитой ум которой умеет находить прелесть в познании и в величавых эмоциях созерцания, нежели жизнь сосредоточенная и посвященная в значительной мере размышлению и делам религии. Вы говорите, что при чтении ничто не возбуждает так сильно вашего воображения, как картины мирной и серьезной жизни, которые, подобно виду прекрасной сельской местности на закате дня, вливают в душу мир и на минуту уносят нас от горькой или пошлой действительности. Но эти картины - не создание фантазии; от вас одной зависит осуществить любой из этих пленительных вымыслов; и для этого у вас есть все необходимое. Вы видите, я проповедую не слишком суровую мораль: в ваших склонностях, в самых привлекательных грезах вашего воображения я стараюсь найти то, что способно дать мир вашей душе.

В жизни есть известная сторона, касающаяся не физического, а духовного бытия человека. Не следует ею пренебрегать; для души точно так же существует известный режим, как и для тела; надо уметь ему подчиняться. Это - старая истина, я знаю; но мне думается, что в нашем отечестве она еще очень часто имеет свою ценность новизны. Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас. Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого.

Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.

Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, -вознесшие его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире, - не оказали на нас никакого влияния. То, что в других странах уже давно составляет самую основу общежития, для нас - только теория и умозрение. И вот пример: вы, обладающая столь счастливой организацией для восприятия всего, что есть истинного и доброго в мире, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что дает самые сладкие и самые чистые радости душе, - говоря откровенно, чего вы достигли при всех этих преимуществах? Вам приходится думать даже не о том, чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно размещаются все события дня и без чего так же невозможно здоровое нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего воздуха, - у вас их нет и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека.

Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены судьбою, - не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности. - Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поняли бы того, что я имею вам сказать.

У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это - эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это - необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста. У нас ничего этого нет. Сначала - дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, - такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме

злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, - вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.

Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите, чтобы семена добра созревали в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена? Это - хаотическое брожение в мире духовном, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали современному состоянию нашей планеты. Мы до сих пор находимся в этой стадии.

Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль; но, обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы также ничего не восприняли и из преемственных идей человеческого рода. Между тем именно на этих идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие. Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого к нашим услугам история народов и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна и, быть может, в пределах одной человеческой жизни не исчерпать этот обширный предмет; но прежде всего надо узнать, в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода и каково место, которое мы занимаем в общем строе.

Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые оставляют в их душе протекшие века, да общением с другими народами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут сознанием своей связи со всем человечеством.

Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим! Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это - естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам Бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не

оказывается ничего своего; все их знание - в их внешнем быте, вся их душа - вне их. Именно таковы мы.

Народы - в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым образом - народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обречены среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?

Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян - все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот, и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Каждый отдельный человек пользуется там своею долей этого наследия, без труда и чрезмерных усилий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым дышит, и создают его нравственное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это - идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран.

Это и составляет атмосферу Запада; это - больше, нежели история, больше чем психология; это - физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? Не знаю, можно ли из сказанного сейчас вывести что-нибудь вполне безусловное и извлечь отсюда какой-либо непреложный принцип; но нельзя не видеть, что такое странное положение народа, мысль которого не примыкает ни к какому ряду идей, постепенно развивавшихся в обществе и медленно выраставших одна из другой, и участие которого в общем поступательном движении человеческого разума ограничивалось лишь слепым, поверхностным и часто неискренним подражанием другим нациям, должно могущественно влиять на дух каждого отдельного человека в этом народе.

Вследствие этого вы найдете, что всем нам недостает известной уверенности, умственной методичности, логики. Западный силлогизм нам незнаком. Наши лучшие умы страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта. Это вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое в сущности представляло собою не что иное, как способность легко усваивать вещи,

не исключавшую ни глубины, ни широты ума и вносящую в обращение необыкновенную прелесть и изящество; это - беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожающей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов, ни даже тем родовым наследием и теми бесчисленными предписаниями и перспективами, которые в условиях быта, основанного на памяти прошлого и предвидении будущего, составляют и общественную, и частную жизнь. В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной лестницы. В чужих странах, особенно на юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц.

Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования; они не видят, что именно благодаря этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, не свободны от тех пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям общества; они не видят, наконец, что, если нам присущи кое-какие добродетели молодых и малоразвитых народов, мы уже не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высококультурные.

Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави Бог! Но я говорю, что для правильного суждения о народах следует изучать общий дух, составляющий их жизненное начало, ибо только он, а не та или иная черта их характера, может вывести их на путь нравственного совершенства и бесконечного развития.

Народные массы подчинены известным силам, стоящим вверху общества. Они не думают сами; среди них есть известное число мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс коллективному разуму народа и двигают его вперед. Между тем как небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге совершается общее движение. За исключением некоторых отупелых племен, Сохранивших лишь внешний облик человека, сказанное справедливо в отношении всех народов, населяющих землю. Первобытные народы Европы - кельты, скандинавы, германцы - имели своих друидов, скальдов и бардов, которые были по-своему сильными мыслителями. Взгляните на племена Северной Америки, которые так усердно старается истребить материальная культура Соединенных Штатов: среди них встречаются люди удивительной глубины.

И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединить в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, определенная нам провидением. Больше того: оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас

самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь.

Странное дело: даже в мире науки, обнимающем все, наша история ни к чему не примыкает, ничего не уясняет, ничего не доказывает. Если бы дикие орды, возмутившие мир, не прошли по стране, в которой мы живем, прежде чем устремиться на Запад, нам едва ли была бы отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы. Некогда великий человек захотел просветить нас, и для того, чтобы приохотить нас к образованию, он кинул нам плащ цивилизации: мы Подняли плащ, но не дотронулись до просвещения. В другой раз, другой великий государь, приобщая нас к своему славному предназначению, провел нас победоносно с одного конца Европы на другой; вернувшись из этого триумфального шествия чрез просвещеннейшие страны мира, мы принесли с собою лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад. В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке. Я не могу вдоволь надивиться этой необычайной пустоте и обособленности нашего социального существования. Разумеется, в этом повинен отчасти неисповедимый рок, но, как и во всем, что совершается в нравственном мире, здесь виноват отчасти и сам человек. Обратимся еще раз к истории: она - ключ к пониманию народов.

Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась хранилища современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца эта семья народов только что была отторгнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческою страстью. В Европе все одушевляло тогда животворный принцип единства. Все исходило из него и все сводилось к нему. Все умственное Движение той эпохи было направлено на объединение человеческого мышления; все побуждения коренились в той властной потребности отыскать всемирную идею, которая является гением-вдохновителем нового времени. Непричастные этому чудотворному началу, мы сделались жертвою завоевания. Когда же мы свергли чужеземное иго и только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, мы подпали еще более жестокому рабству, освященному притом фактом нашего освобождения.

Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на вид окутанную мраком! Большая часть знаний, которыми теперь гордится человек, уже была предугадана отдельными умами; характер общества уже определился, а, приобщившись к миру языческой древности, христианские народы обрели и те формы прекрасного,

которых им еще недоставало. Мы же замкнулись в нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не достигало до нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы. Высокие качества, которые религия принесла в дар новым народам и которые в глазах здравого разума настолько же возвышают их над древними народами, насколько последние стояли выше готтентотов и лапландцев; эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчинения безоружной власти, сделались столь же мягкими, как раньше были грубы, - все это нас совершенно миновало. В то время, как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколения, - мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созревал.

Спрашиваю вас, не наивно ли предполагать, как это обыкновенно делают у нас, что этот прогресс европейских народов, совершившийся столь медленно и под прямым и очевидным воздействием единой нравственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся?

Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нем есть чисто историческая сторона, которая является одним из самых существенных элементов догмата и которая заключает в себе, можно сказать, всю философию христианства, так как показывает, что оно дало людям и что даст им в будущем. С этой точки зрения христианская религия является не только нравственной системой, заключенной в преходящие формы человеческого ума, но вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире и чье явное обнаружение должно служить нам постоянным уроком. Именно таков подлинный смысл догмата о вере в единую Церковь, включенного в символ веры. В христианском мире все необходимо должно способствовать - и действительно способствует - установлению совершенного строя на земле; иначе не оправдалось бы слово Господа, что он пребудет в церкви своей до скончания века. Тогда новый строй, - Царство Божие, - который должен явиться плодом искупления, ничем не отличался бы от старого строя - от царства зла, - который искуплением должен быть уничтожен, и нам опять-таки оставалась бы лишь та призрачная мечта о совершенстве, которую лелеют философы и которую опровергает каждая страница истории, - пустая игра ума, способная удовлетворять только материальные потребности человека и поднимающая его на известную высоту лишь затем, чтобы тотчас низвергнуть в еще более глубокие бездны.

Однако, скажете вы, разве мы не христиане? и разве не мыслима иная цивилизация, кроме европейской? - Без сомнения, мы христиане; но не христиане ли и абиссинцы? Конечно, возможна и образованность, отличная от европейской; разве Япония не образованна, притом, если верить одному из наших соотечественников, даже в большей степени, чем Россия? Но неужто вы думаете, что тот порядок вещей, о котором я только что говорил и который является конечным предназначением человечества, может быть осуществлен абиссинским христианством и японской культурой? - Неужто вы думаете, что небо сведет на землю эти нелепые уклонения от божеских и человеческих истин?

В христианстве надо различать две совершенно разные вещи: его действие на отдельного человека и его влияние на всеобщий разум. То и другое естественно сливается в высшем разуме и неизбежно ведет к одной и той же цели. Но срок, в который осуществляются вечные предначертания божественной мудрости, не может быть охвачен нашим ограниченным взглядом. И потому мы должны отличать божественное действие, проявляющееся в какое-нибудь определенное время в

человеческой жизни, от того, которое совершается в бесконечности. В тот день, когда окончательно исполнится дело искупления, все сердца и умы сольются в одно чувство, в одну мысль, и тогда падут все стены, разъединяющие народы и исповедания. Но теперь каждому важно знать, какое место отведено ему в общем призвании христиан, то есть какие средства он может найти в самом себе и вокруг себя, чтобы содействовать достижению цели, поставленной всему человечеству.

Отсюда необходимо возникает особый круг идей, в котором и вращаются умы того общества, где эта цель должна осуществиться, то есть идея, которую Бог открыл людям, должна созреть и достигнуть всей своей полноты. Этот круг идей, эта нравственная сфера, в свою очередь, естественно обуславливают определенный строй жизни и определенное мировоззрение, которые, не будучи тождественными для всех, тем не менее создают у нас, как и у всех не европейских народов, одинаковый бытовой уклад, являющийся плодом той огромной 18-вековой духовной работы, в которой участвовали все страсти, все интересы, все страдания, все мечты, все усилия разума.

Все европейские народы шли вперед в веках рука об руку; как бы ни старались они теперь разойтись каждый своей дорогой, - они беспрестанно сходятся на одном и том же пути. Чтобы убедиться в том, как родственно развитие этих народов, нет надобности изучать историю; прочтите только Тасса, и вы увидите их все простертыми ниц у подножья Иерусалимских стен. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был один язык для обращения к Богу, одна духовная власть и одно убеждение. Подумайте, что в течение пятнадцати веков, каждый год в один и тот же день, в один и тот же час, они в одних и тех словах возносили свой голос к верховному существу, прославляя его за величайшее из его благодеяний. Дивное созвучие, в тысячу крат более величественное, чем все гармонии физического мира! Итак, если эта сфера, в которой живут европейцы и в которой в одной человеческий род может исполнить свое конечное предназначение, есть результат влияния религии и если, с другой стороны, слабость нашей веры или несовершенство наших догматов до сих пор держали нас в стороне от этого общего движения, где развилась и формулировалась социальная идея христианства, и низвели нас в сонм народов, коим суждено лишь косвенно и поздно воспользоваться всеми плодами христианства, то ясно, что нам следует прежде всего оживить свою веру всеми возможными способами и дать себе истинно христианский импульс, так как на Западе все создано христианством. Вот что я подразумеваю, говоря, что мы должны от начала повторить на себе все воспитание человеческого рода.

Вся история новейшего общества совершается на почве мнений; таким образом, она представляет собою настоящее воспитание. Утвержденное изначально на этой основе, общество шло вперед лишь силою мысли. Интересы всегда следовали там за идеями, а не предшествовали им; убеждения никогда не возникали там из интересов, а всегда интересы рождались из убеждений. Все политические революции были там, в сущности, духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние. Этим объясняется характер современного общества и его цивилизации; иначе его совершенно нельзя было бы понять.

Религиозные гонения, мученичество за веру, проповедь христианства, ереси, соборы - вот события, наполняющие первые века. Все движение этой эпохи, не исключая и нашествия варваров, связано с этими первыми, младенческими усилиями нового мышления. Следующая затем эпоха занята образованием иерархии, централизацией духовной власти и непрерывным распространением христианства среди северных народов. Далее следует высочайший подъем религиозного чувства и упрочение религиозной власти. Философское и литературное развитие ума и улучшение нравов под державой религии довершает эту историю новых народов, которую с таким же правом можно назвать священной, как и историю

древнего избранного народа. Наконец, новый религиозный поворот, новый размах, сообщенный религией человеческому духу, определил и теперешний уклад общества. Таким образом, главный и, можно сказать, единственный интерес новых народов всегда заключается в идее. Все положительные, материальные, личные интересы поглощались ею.

Я знаю - вместо того, чтобы восхищаться этим дивным порывом человеческой природы к возможному для нее совершенству, в нем видели только фанатизм и суеверие; но что бы ни говорили о нем, судите сами, какой глубокий след в характере этих народов должно было оставить такое социальное развитие, всецело вытекавшее из одного чувства, безразлично - в добре и во зле.

Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров, зажженных нетерпимостью, - мы можем только завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины целый мир идей, которого мы даже представить себе не можем, не говоря уже о том, чтобы перенестись в него телом и душой, как у нас об этом мечтают.

Еще раз говорю: конечно, не все в европейских странах проникнуто разумом, добродетелью и религией, - далеко нет. Но все в них таинственно повинуете той силе, которая властно царит там уже столько веков, все порождено той долгой последовательностью фактов и идей, которая обусловила современное состояние общества. Вот один из примеров, доказывающих это. Народ, физиономия которого всего резче выражена и учреждения всего более проникнуты духом нового времени, - англичане, - собственно говоря, не имеют иной истории, кроме религиозной. Их последняя революция, которой они обязаны своей свободой и своим благосостоянием, так же как и весь ряд событий, приведших к этой революции, начиная с эпохи Генриха VIII, - не что иное, как фазис религиозного развития. Во всю эпоху интерес собственно политический является лишь второстепенным двигателем и временами исчезает вовсе или приносится в жертву идее. И в ту минуту, когда я пишу эти строки, все тот же религиозный интерес волнует эту избранную страну. Да и вообще, какой из европейских народов не нашел бы в своем национальном сознании, если бы дал себе труд разобраться в нем, того особенного элемента, который в форме религиозной мысли неизменно являлся животворным началом, душою его социального тела, на всем протяжении его бытия?

Действие христианства отнюдь не ограничивается его прямым и непосредственным влиянием на дух человека. Огромная задача, которую оно призвано исполнить, может быть осуществлена лишь путем бесчисленных нравственных, умственных и общественных комбинаций, где должна найти себе полный простор безусловная победа человеческого духа. Отсюда ясно, что все совершившееся с первого дня нашей эры, или, вернее, с той минуты, когда Спаситель сказал своим ученикам: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари,* - включая и все нападки на христианство, - без остатка покрывается этой общей идеей его влияния. Стоит лишь обратить внимание на то, как власть Христа непреложно осуществляется во всех сердцах, - с сознанием или бессознательно, по доброй воле или принуждению, - чтобы убедиться в исполнении его пророчеств. Поэтому, несмотря на всю неполноту, несовершенство и прочность, присущие европейскому миру в его современной форме, нельзя отрицать, что Царство Божие до известной степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его окончательного водворения на земле.

* Евангелие от Марка, XVI, 15.

Прежде чем закончить эти размышления о роли, которую играла религия в истории общества, я хочу привести здесь то, что говорил об этом когда-то в сочинении, вам неизвестном.

Несомненно, писал я, что, пока мы не научимся узнавать действие христианства повсюду, где человеческая мысль каким бы то ни было образом соприкасается с ним, хотя бы с целью ему противоборствовать, - мы не имеем о нем ясного понятия. Едва произнесено имя Христа, одно это имя увлекает людей, что бы они ни делали. Ничто не обнаруживает так ясно божественного происхождения христианской религии, как эта ее безусловная универсальность, сказывающаяся в том, что она проникает в души всевозможными путями, овладевает умом без его ведома, и даже в тех случаях, когда он, по-видимому, всего более ей противится, подчиняет его себе и властвует над ним, внося при этом в сознание истины, которых там раньше не было, пробуждая ощущения в сердцах, дотоле им чуждые, и внушая нам чувства, которые без нашего ведома вводят нас в общий строй. Так определяет она роль каждой личности в общей работе и заставляет все содействовать одной цели. При таком понимании христианства всякое пророчество Христа получит характер осязательной истины. Тогда начинаешь ясно различать движение всех рычагов, которые его всемогущая десница пускает в ход, дабы привести человека к его конечной цели, не посягая на его свободу, не умерщвляя ни одной из его природных способностей, а, наоборот, удешевляя их силу и доводя до безмерного напряжения ту долю мощи, которая заложена в нем самом. Тогда видишь, что ни один нравственный элемент не остается бездейственным в новом строе, что самые энергичные усилия ума, как и горячий порыв чувства, героизм твердого духа, как и покорность кроткой души, - все находит в нем место и применение. Доступная всякому разумному существу, сочетаясь с каждым биением нашего сердца, о чем бы оно ни билось, христианская идея все увлекает за собою, и самые препятствия, встречаемые ею, помогают ей расти и крепнуть. С гением она поднимается на высоту, недостижимую для остальных людей; с робким духом она движется ощупью и идет вперед мерным шагом; в созерцательном уме она безусловна и глубока; в душе, подвластной воображению, она воздушна и богата образами; в нежном любящем сердце она разрешается в милосердие и любовь; - и каждое сознание, отдавшееся ей, она властно ведет вперед, наполняя его жаром, ясностью и силой. Взгляните, как разнообразны характеры, как множественны силы, приводимые ею в движение, :какие несходные элементы служат одной и той же цели, сколько разнообразных сердец бьется для одной идеи! Но: еще более удивительно влияние христианства на общество в целом. Разверните :вполне картину эволюции нового общества, и вы увидите, как христианство претворяет все интересы людей в свои собственные, заменяя всюду материальную потребность потребностью нравственной и возбуждая в области мысли те великие споры, каких до него не знало ни одно время, ни одно общество, те страшные столкновения мнений, когда вся жизнь народов превращалась в одну великую идею, одно безграничное чувство; вы увидите, как все становится им, и только им, - частная жизнь и общественная, семья и родина, наука и поэзия, разум и воображение, воспоминания и надежды, радости и печали. Счастливы те, кто носит в сердце своем ясное сознание части, им творимой, в этом великом движении, которое сообщил миру сам Бог. Но не все суть деятельные орудия, не все трудятся сознательно; необходимые массы движутся слепо, не зная сил, которые приводят их движения, и не провидя цели, к которой они влекутся, - бездушные атомы, косные громады.

Но пора вернуться к вам, сударыня. Признаюсь, мне трудно оторваться от этих широких перспектив. В картине, открывающейся моим глазам с этой высоты, - все мое утешение, и сладкая вера в будущее счастье человечества одна служит мне убежищем, когда, удрученный жалкой действительностью, которая меня окружает, я чувствую потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо. Однако я не думаю, что злоупотребил вашим временем. Мне надо было показать вам ту точку зрения, с которой следует смотреть на христианский мир и на

нашу роль в нем. То, что я говорил о нашей стране, должно было показаться вам исполненным горечи; между тем я высказал одну только правду, и даже не всю. Притом христианское сознание не терпит никакой слепоты, а национальный предрассудок является худшим видом ее, так как он всего более разъединяет людей.

Мое письмо растянулось, и, думаю, нам обоим нужен отдых. Начиная его, я полагал, что сумею в немногих словах изложить то, что хотел вам сказать; но, вдумываясь глубже, я вижу, что об этом можно написать целый том. По сердцу ли это вам? Буду ждать вашего ответа. Но, во всяком случае, вы не можете избежать еще одного письма от меня, потому что мы едва лишь приступили к рассмотрению нашей темы. А пока я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы сооблаговостили пространностью этого первого письма извинить то, что я так долго заставил вас ждать его. Я сел писать вам в тот же день, когда получил ваше письмо; но грустные и тягостные заботы поглотили меня тогда всецело, и мне надо было избавиться от них, прежде чем начать с вами разговор о столь важных предметах; затем нужно было переписать мое маранье, которое было совершенно неразборчиво. На этот раз вам не придется долго ждать: завтра же снова берусь за перо.

Некрополь *, 1-го декабря 1829 г.

* "Некрополь" - подразумевается Москва, как "город мертвых".

Письмо второе

Если я удачно передал намерения свою мысль, вы должны были убедиться, что я отнюдь не думаю, будто нам не хватает одних только знаний. Правда, и их у нас не слишком много, но приходится в данное время обойтись без тех обширных духовных сокровищ, которые веками скоплены в других странах и находятся там в распоряжении человека: нам предстоит другое. К тому же, если и допустить, что мы смогли бы путем изучения и размышления добыть себе недостающие нам знания, откуда нам взять живые традиции, обширный опыт, глубокое осознание прошлого, прочные умственные навыки - все эти последствия огромного напряжения всех человеческих способностей, а они-то и составляют нравственную природу народов Европы и дают им подлинное превосходство. Итак, задача сейчас не в расширении области наших идей, а в том, чтобы исправить их и придать им новое направление. Что касается вас, сударыня, то вам прежде всего нужна новая сфера бытия, в которой свежие мысли, случайно зароненные в ваш ум, и новые потребности, порожденные этими мыслями в вашей душе, нашли бы действительное приложение. Вы должны создать себе новый мир, раз тот, в котором вы живете, стал вам чуждым.

Начать с того, что состояние души нашей, как бы высоко она ни была настроена, по необходимости зависит от окружающей обстановки. Поэтому вам надлежит как следует разобраться в том, что можно сделать при вашем положении в свете и в собственной вашей семье для согласования ваших чувств с вашим образом жизни, ваших идей - с вашими домашними отношениями, ваших верований - с верованиями тех, кого вы видите...

Ведь множество зол возникает именно оттого, что происходящее в глубине нашей мысли резко расходится с необходимостью подчиняться общественным условиям. Вы говорите, что средства не позволяют вам удобно устроиться в столице. Ну что ж, у вас прелестная усадьба: почему бы вам прочно там не обосноваться до конца ваших дней? Это счастливая необходимость, и от вас одной зависит извлечь из нее всю ту пользу, какую могли бы вам доставить самые поучительные указания философии. Сделайте свой приют как можно более привлекательным, займитесь его красивым убранством, почему бы даже не вложить в это некоторую изысканность и нарядность? Ведь это вовсе не особый вид чувственности, заботы ваши будут иметь

целью не вульгарные удовольствия, а возможность всецело сосредоточиться в своей внутренней жизни. Очень прошу вас не пренебрегать этими внешними мелочами. Мы живем в стране, столь бедной проявлениями идеального, что если мы не окружим себя в домашней жизни некоторой долей поэзии и хорошего вкуса, то легко можем утратить всякую утонченность чувства, всякое понятие об изящном. Одна из самых поразительных особенностей нашей своеобразной цивилизации заключается в пренебрежении всеми удобствами и радостями жизни. Мы лишь с грехом пополам боремся с крайностями времен года, и это в стране, о которой можно не на шутку спросить себя: была ли она предназначена для жизни разумных существ. Раз мы сделали некогда неосторожность, поселившись в этом жестоком климате, то постараемся по крайней мере ныне устроиться там так, чтобы можно было несколько забыть его суровость.

Мне помнится, вы в былое время с большим удовольствием читали Платона. Вспомните, как заботливо самый идеальный, самый выспренный из мудрецов древнего мира окружает действующих лиц своих философских драм всеми благами жизни. То они Здесь имеются в медленно гуляют по прелестным побережьям Иллисса или в кипарисных аллеях Гносса, то они укрываются в прохладной тени старого платана или вкушают сладостное отдохновение на цветущей лужайке, а то, выждав спадения дневной жары, наслаждаются ароматным воздухом и тихой прохладой вечера в Аттике или же, наконец, возлежат в удобных позах, увенчанные цветами и с кубками в руках, вокруг стола с яствами, и только прекрасно устроив их на земле, автор возносит их в надлунные пространства, в которых так любит витать. Я мог бы вам указать и в сочинениях самых строгих отцов церкви, у св. Иоанна Златоуста, у св. Григория Назианзина, даже и у св. Василия, прелестные изображения уединения, где эти великие люди находили покой и высокие вдохновения, сделавшие их светилами веры. Святые мужи не думали, что они унижают свое достоинство, отдаваясь заботам о таких предметах, наполняющих значительную часть жизни. В этом безразличии к жизненным благам, которые иные из нас вменяют себе в заслугу, есть поистине нечто циничное. Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс, состоит в отсутствии всякого отражения искусства в нашей домашней жизни.

Затем я бы хотел, чтобы вы устроили себе в этом убежище, которое вы как можно лучше украсите, вполне однообразный и методический образ жизни. Нам всем не хватает духа порядка и последовательности, исправимся от этого недостатка. Не стоит повторять доводов в пользу преимуществ размеренной жизни, во всяком случае одно лишь постоянное подчинение определенным правилам может научить нас без усилий подчиняться высшему закону нашей природы. Но для точного поддержания известного строя необходимо устранить все, что этому мешает. Часто с первых часов дня бываешь выбит из намеченного круга занятий, и весь день испорчен. Нет ничего важнее первых испытанных нами впечатлений, первых мыслей вслед за подобием смерти, которое разделяет один день от другого. Эти впечатления и эти мысли обычно определяют состояние нашей души на весь день. Вот он начался домашней сварой и может кончиться непоправимой ошибкой. Поэтому приучитесь первые часы дня сделать как можно более значительными и торжественными, сразу вознесите душу на всю ту высоту, к какой она способна, старайтесь провести эти часы в полном уединении, устраняйте все, что может слишком на вас повлиять, слишком вас рассеять, при такой подготовке вы можете безболезненно встретить те неблагоприятные впечатления, которые затем вас охватят и которые при других условиях превратили бы ваше существование в непрерывную борьбу, без надежды на победу. К тому же, раз это время упущено, потом уж не вернешь его для уединения и сосредоточенной мысли. Жизнь поглотит вас всеми своими заботами, как приятными, так и скучными, и вы покатитесь в

нескончаемом колесе житейских мелочей. Не дадим же протекать без пользы единственному часу дня, когда мы можем принадлежать самим себе.

Признаюсь, я придаю большое значение этой потребности ежедневно сосредоточиться и расправить душу, я уверен, что нет другого средства уберечь себя от поглощения окружающим; но вы, конечно, понимаете, что это далеко еще не все. Одна идея, пронизывающая всю вашу жизнь, должна всегда стоять перед вами, служить вам светочем во всякое время дня. Мы являемся в мир со смутным инстинктом нравственного блага, но вполне осознать его мы можем лишь в более полной идее, которая из этого инстинкта развивается в течение всей жизни. Этой внутренней работе надо все приносить в жертву, применительно к ней надо установить весь порядок вашей жизни. Но все это должно протекать в сердечном молчании, потому что мир не сочувствует ничему глубокому. Он отвращает глаза от великих убеждений, глубокая идея его утомляет. Вам же должны быть свойственны верное чувство и сосредоточенная мысль, не зависящие от различных людских мнений, а уверенно ведущие вас к цели. Не завидуйте обществу из-за его чувственных удовольствий, вы обретете в своем уединении наслаждения, о которых там понятия не имеют. Я не сомневаюсь в том, что освоившись с ясной атмосферой такого существования, вы станете спокойно взирать из своей обители на то, как волнуется и для вас исчезает мир, вы с наслаждением будете вкушать тишину души. А там - надо усвоить себе вкусы, привычки, привязанности вашего нового образа жизни. Надо избавиться от всякого суетного любопытства, разбивающего и уродующего жизнь, и первым делом искоренить упорную склонность сердца увлекаться новинками, гоняться за злобами дня и вследствие этого постоянно с жадностью ожидать того, что случится завтра. Иначе вы не обретете ни мира, ни благополучия, а одни только разочарования и отвращение. Хотите вы, чтобы мирской поток разбивался у порога вашего мирного жилища? Если да, то изгоните из вашей души все эти беспокойные страсти, возбуждаемые светскими происшествиями, все эти нервные волнения, вызванные новостями дня. Замкните дверь перед всяким шумом, отголосками света. Наложите у себя запрет, если хватит у вас решимости, даже и на всю легковесную литературу, по существу, она не что иное, как тот же шум, но только в письменном виде. На мой взгляд, нет ничего вреднее для правильного умственного уклада, чем жажда чтения новинок. Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособными серьезно размышлять, глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни только эти произведения последнего дня, в которых за все хватаются, ничего не углубив, в которых все обещают, ничего не выполняя, где все принимает сомнительную или лживую окраску и все вместе оставляет после себя пустоту и неопределенность. Если вы ищете удовлетворения в избранном образе жизни, необходимо добиться, чтобы новшество из-за одной новизны своей никогда вами не ценилось.

Нет никакого сомнения, чем более вы согласуете свои вкусы и потребности с этим образом жизни, тем лучше вы будете себя чувствовать. Чем теснее вы свяжете внешнее с внутренним, видимое с невидимым, тем более вы облегчите предстоящий путь. Не надо, однако, скрывать от себя и ожидающих вас трудностей. Их у нас так много, что всех и не перечислить. Здесь не торная дорога, где колесо жизни катится по наезженной колее: это тропа, по которой приходится продирается сквозь тернии и колючки, а подчас и сквозь чашу. В старых цивилизованных странах Европы давно сложились определенные бытовые образцы, так что там, когда решишь переменить обстановку, приходится просто-напросто выбрать ту новую рамку, в которую желаешь перенестись - место заранее готово. Распределение ролей сделано. Как только вы выберете подходящий род жизни, и люди и предметы сами собой расположатся вокруг вас. Вам остается только должным образом их использовать. Совсем иное дело у нас. Сколько издержек, сколько труда, прежде чем вы освоитесь в новой

обстановке. Сколько теряется времени, сколько затрачивается сил на приспособление, на то, чтобы приучить окружающих смотреть на вас сообразно с новым вашим положением, чтобы заставить молчать глупца, чтобы улеглось любопытство. Разве здесь знают, что такое могущество мысли? Разве здесь испытали, как прочно убеждение вследствие тех или других причин вторгается в душу вопреки привычному ходу вещей, через некоторое внезапное озарение, через указание свыше, овладевает душой, опрокидывает целиком ваше существование и поднимает вас выше вас самих и всего, что вас окружает? Живое вызывало ли здесь когда-либо сердечный отклик?

Естественно, что всякий, кто отдался бы с жаром своим верованиям, наткнется среди этой толпы, которую никогда ничего не потрясало, на препятствия и возражения. Вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами. И это буквально так. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели. Отягченная роковым грехом, где она, та прекрасная душа, которая бы не заглохла под этим невыносимым бременем? Где человек, столь сильный, чтобы в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая одно и поступая по-другому, он не опротивел сам себе? И вот я снова вернулся, сам того не замечая, к тому, с чего начал: позвольте мне еще немного на этом остановиться, и я затем вернусь к вам.

Эта ужасная язва, которая нас изводит, в чем же ее причина? Как могло случиться, что самая поразительная черта христианского общества как раз именно и есть та, от которой русский народ отрекся на лоне самого христианства? Откуда у нас это действие религии наоборот? Не знаю, но мне кажется, одно это могло бы заставить усомниться в православии, которым мы кичимся. Вы знаете, что ни один философ древности не пытался представить себе общества без рабов, да и не находил никаких возражений против рабства. Аристотель, признанный представитель всей той мудрости, какая только была в мире до пришествия Христа, утверждал, что люди рождаются - одни, чтобы быть свободными, другие - чтобы носить оковы. Вы знаете также и то, что, по признанию самых даже упорных скептиков, уничтожением крепостничества в Европе мы обязаны христианству. Более того, известно, что первые случаи освобождения были религиозными актами и совершались перед алтарем и что в большинстве отпускных грамот мы встречаем выражение: *pro redemptione animae* - ради искупления души. Наконец, известно, что духовенство показало везде пример, освобождая собственных крепостных, и что римские первосвященники первые вызвали уничтожение рабства в области, подчиненной их духовному управлению. Почему же христианство не имело таких же последствий у нас? Почему, наоборот, русский народ подвергся рабству лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйского? Пусть православная церковь объяснит это явление.

Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой. И посмотрите, пожалуйста, как мало нас знают, невзирая на всю нашу внешнюю мощь. Как раз на этих днях в одно время и на Босфоре и на Евфрате прогремел гром наших пушек. А между тем историческая наука, которая именно в это самое время доказывает, что уничтожение рабства есть заслуга христианства, даже и не подозревает, что христианский народ в 40 миллионов душ пребывает в оковах. Дело в том, что значение народов в

человечестве определяется лишь их духовной мощью и что то внимание, которое они к себе возбуждают, зависит от их нравственного влияния в мире, а не от шума, который они производят. Теперь вернемся назад.

После сказанного о желательном, на мой взгляд, для вас образе жизни, вы, пожалуй, могли бы подумать, что я требую от вас монашеской замкнутости. Но речь идет лишь о трезвом и осмысленном существовании, а оно не имеет ничего общего с мрачной суровостью аскетической морали. Я говорю о жизни отличной от жизни толпы, с такой положительной идеей и таким чувством, преисполненным убеждения, к которому сводились бы все остальные мысли, все остальные чувства. Такое существование прекрасно мирится со всеми законными благами жизни: оно даже их требует, и общение с людьми - необходимое его условие. Одиночество таит свои опасности, в нем подчас нас ожидают еще большие искушения. Сосредоточенный в самом себе ум питается созданными им лживыми образами, и подобно св. Антонию населяет свою пустыню призраками, порождениями собственного воображения, и они его затем и преследуют. А между тем, если развивать религиозную мысль без страсти, без насилия, то сохранишь даже и среди мирской суеты то внутреннее состояние, в котором все обольщения, все увлечения жизни теряют силу.

Надо найти такое душевное настроение, мягкое и простое, которое сумело бы без усилий сочетать со всеми действиями разума, со всеми возбуждениями сердца идею истины и добра. В особенности следует стремиться проникнуться истинами откровения. Огромное преимущество этих истин в том, что они доступны всякому разумному существу, что они мирятся с особенностями всех умов. К ним ведут всевозможные пути: и покорная и слепая вера, которую без размышления исповедуют массы, и глубокое знание, и простодушное сердечное благоговение, и вдохновенное размышление, и возвышенная поэзия души. Однако самый простой путь - целиком положиться на те столь частые случаи, когда мы сильнее всего поддаемся действию религиозного чувства на нашу душу и нам кажется, что лишились лично нам принадлежащей силы и против своей воли влечемся к добру какою-то высшей силой, отрывающей нас от земли и возносящей на небо. И вот тогда именно, в сознании своей немощи, дух наш раскроется с необычайной силой для мыслей о небе, и самые высокие истины сами собой потекут в наше сердце.

Многokrатно возвращаясь к основному началу нашей духовной деятельности, к тому, что вызывает наши мысли и наши поступки, невозможно не заметить, что значительная часть их определяется чем-то таким, что нам отнюдь не принадлежит, и что самое хорошее, самое возвышенное, самое для нас полезное из происходящего в нас вовсе не нами производится. Все то благо, которое мы совершаем, есть прямое следствие присущей нам способности подчиняться неведомой силе: [а] единственная действительная основа деятельности, исходящей от нас самих, связана с представлением о нашей выгоде, в пределах того отрезка времени, который мы зовем жизнью; это не что иное, как инстинкт самосохранения, который общ нам со всеми одушевленными существами, но видоизменяется в нас согласно нашей своеобразной природе. Поэтому, что бы мы ни делали, какую бы незаинтересованность ни стремились вложить в свои чувства и свои поступки, руководит нами всегда одна только эта выгода, более или менее правильно понятая, более или менее близкая или отдаленная. Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, чего мы желаем для самих себя, а устранить себя вполне нам никогда не удастся: в желаемое нами для других мы всегда подставляем нечто свое. И потому высший разум, выражая свой закон на языке человека, снисходя к нашей слабой природе, предписал нам только одно: поступать с другими так, как мы желаем, чтобы поступали с нами. И в этом, как и во всем другом, он идет вразрез с нравственным учением философии, которая берется постигнуть абсолютное благо,

то есть благо универсальное, как будто только от нас зависит составить себе понятие о полезном вобщем, когда мы не знаем и того, что нам самим полезно. Что такое абсолютное благо? Это незыблемый закон, по которому все стремится к своему предназначению: вот все, что мы о нем знаем. Но если руководить нашей жизнью должно понятие об этом благе, разве не необходимо знать о нем что-либо еще? Мы без всякого сомнения действуем в известной степени сообразно всеобщему закону, в противном случае мы заключали бы в себе самих основу нашего бытия, а это нелепость, но мы действуем именно так, сами не зная, почему: движимые невидимой силой, мы можем улавливать ее действие, изучать ее в ее последствиях, подчас отождествляться с нею, но вывести из всего этого положительный закон нашего духовного бытия - вот это нам недоступно. Смутное чувство, неоформленное понятие без обязательной силы - большего мы никогда не добьемся. Вся человеческая мудрость заключена в этой страшной насмешке Бога в Ветхом завете: вот Адам стал как один из нас, познав добро и зло *.

* Бытие, III, 22.

Я думаю, вы из сказанного уже предугадываете всю неизбежность откровения: и вот что, по моему мнению, доказывает эту неизбежность. Человек научается познавать физический закон, наблюдая явления природы, которые чередуются у него перед глазами сообразно единообразному и неизменному закону. Собирая воедино наблюдения предшествующих поколений, он создает систему познаний, проверяемую его собственным опытом, а великое орудие исчисления облакает ее в неизменную форму математической достоверности. Хотя этот круг познаний охватывает далеко не всю природу и не возвышается до значения общей основы всех вещей, он заключает в себе вполне положительные познания, потому что познания эти относятся к существам, протяжение и длительность которых могут быть познаны чувствами или же предусмотрены достоверными аналогиями. Словом, здесь царство опыта, и, поскольку опыт может сообщить достоверность понятиям, которые он вводит в наш ум, постольку мир физический может быть нам ведом. Вы хорошо знаете, что эта достоверность доходит до того, что мы можем предвидеть известное явление за много времени вперед и способны с невероятной силой воздействовать на неодушевленную материю.

Итак, нами указаны средства достоверного познания, которыми располагает человек. Если, помимо этого, разум наш имеет еще способности собственного почина, то есть деятельное начало, не зависящее от восприятия материального мира, то во всяком случае и эту собственную свою силу он может применять лишь к материалу, который доставляет ему [в порядке материальном - наблюдение]; а в порядке духовном - [к чему] применит человек эти средства? Что именно придется ему наблюдать для раскрытия закона духовного порядка? Природу разума, не правда ли? Но разве природа разума такова же, как природа материальная? Не свободен ли он? Разве он не следует закону, который сам себе полагает? Поэтому, исследуя разум в его внешних и внутренних проявлениях, что мы узнаем? Что он свободен, вот и все. И если мы при этом исследовании достигнем чего-либо абсолютного, разве ощущение нашей свободы не отбросит нас немедленно, и притом неизбежно, в тот самый круг рассуждения, из которого мы только что перед тем как будто выбились? Не очутимся ли мы вслед за тем на прежнем месте? Круг этот неизбежен. Но это не все. Предположим, что мы на самом деле возвысились до некоторых истин, настолько доказанных, что разум вынужден их принять непременно. Предположим, что мы действительно нашли несколько общих законов, которым разумное существо непременно должно подчиниться. Эти законы, эти истины будут относиться лишь к одной части всей жизни человека, к его земной жизни, ничего общего не будут они иметь с другой частью, которая нам совершенно неведома и тайну которой не сможет нам раскрыть никакая аналогия. Каким же

образом могут они быть истинными законами духовного существа, раз они касаются лишь части его существования, одного мгновения в его жизни? Так что, если мы и постигнем эти законы на основании опыта, то и они смогут быть только законами одного периода времени, пройденного духовной природой, а в таком случае как можем мы их признать за законы духовной природы вообще? Не значило ли бы это то же самое, как если бы сказали, что для каждого возраста есть специальная врачебная наука и, чтобы лечить, например, детские болезни, излишне знать немощи зрелого возраста? Что для предписания образа жизни, подходящего для молодежи, нет нужды знать тот, который пригоден человеку вообще? Что состояние нашего здоровья не определяется состоянием здоровья всех моментов нашей жизни и, наконец, что мы можем предаваться всяким отступлениям и излишествами в известные эпохи безнаказанно для дальнейшей жизни? Я спрашиваю вас, какое мнение составили бы вы себе о человеке, который бы утверждал, что существует одна нравственность для юности, другая для зрелого возраста, еще другая для старости и что значение воспитания ограничивается (только) ребенком и юношей. А между тем это именно то, что утверждает мораль ваших философов. Она научает нас тому, что надлежит нам делать сегодня, а о том, что будет с нами завтра, она не помышляет. А что такое будущая жизнь, если не завтрашний день жизни настоящей?

Все это приводит нас к такому заключению: жизнь духовного существа в целом обнимает собою два мира, из которых только один нам ведом, и так как всякое мгновение жизни неразрывно со всей последовательностью моментов, из которых слагается жизнь, то ясно, что собственными силами нам невозможно возвыситься до познания закона, который необходимо должен относиться к тому и другому миру. Поэтому закон этот неизбежно должен быть нам преподан таким разумом, для которого существует один-единственный мир, единый порядок вещей.

Впрочем, не подумайте, что нравственное учение философов не имеет, с нашей точки зрения, никакой ценности. Мы как нельзя лучше знаем, что оно содержит великие и прекрасные истины, которые долго руководили людьми и которые еще и сейчас с силой отзываются в сердце и в душе. Но мы знаем также, что истины эти не были выдуманы человеческим разумом, но были ему внушены свыше в различные эпохи общей жизни человечества. Это одна из первичных истин, преподанных естественным разумом и которую откровение лишь освящает своим высшим авторитетом. Хвала мудрым земли, но слава одному только Богу. Человек никогда не шествовал иначе как при сиянии божественного света. Свет этот постоянно озарял шаги человека, но он не замечал того источника, из которого исходил яркий луч, падающий на его путь. Он просвещает, говорит евангелист, всякого человека, приходящего в мир. Он всегда был в мире, но мир его не познал*.

* Евангелие от Иоанна, 1,9-10.

Привычные представления, усвоенные человеческим разумом под влиянием христианства, приучили нас усматривать идею, раскрытую свыше, лишь в двух великих откровениях - Ветхого и Нового завета, и мы забываем о первоначальном откровении. А без ясного понимания этого первого общения Духа Божия с духом человеческим ничего нельзя понять в христианстве. Христианин, не находя в собственном своем учении разрешения великой загадки духовного бытия, естественно приводится к учению философов. А между тем философы способны объяснять человека только через человека: они отделяют его от Бога и внушают ему мысль о том, будто он зависит только от себя самого. Обычно думают, что христианство не объясняет всего, что нам надлежит знать. Считают, что существуют нравственные истины, которые может нам преподать одна только философия: это великое заблуждение. Нет такого человеческого значения, которое способно было бы заменить собою значение божественное. Для христианина все движение человеческого духа не что иное, как отражение непрерывного действия Бога на мир.

Изучение последствий этого движения дает ему в руки лишь новые доводы в подтверждение его верований. В различных философских системах, во всех усилиях человека христианин усматривает лишь более или менее полное развитие духовных сил мира, сообразно различным состояниям и различным возрастам обществ, но тайну назначения человека он открывает не в тревожном и неуверенном колебании человеческого разума, а в символах и глубоких образах, завещанных человечеству учениями, источник которых теряется в лоне Бога. Он следит за учением, в которое постепенно выливается земная мысль, и находит там более или менее заметные следы первоначальных наставлений, преподанных человеку самим Создателем в тот день, когда он его творил своими руками; размышляет об истории человеческого духа и находит в ней сверхприродные озарения, не переставшие просвещать без его ведома человеческий разум, пронизывая весь тот туман, весь тот мрак, которым этот разум так охотно себя облекает. Всюду примечает он эти всеильные и неизгладимые идеи, нисшедшие с неба на землю, без которых человечество давно бы запуталось в своей свободе. И наконец, он знает, что опять-таки благодаря этим самым идеям дух человеческий мог воспринять более совершенные истины, которые Бог благоволил сообщить ему в более близкую нам эпоху.

И поэтому, далекий от попыток овладеть всеми заключающимися в мозгу человека измышлениями, он стремится лишь как можно лучше постигнуть пути Господни во всемирной истории человечества. Он влечется к одной только небесной традиции; искажения, внесенные в нее людьми, для него дело второстепенное. И тогда он неизбежно поймет, что есть надежное правило, как среди всего необъятного моря человеческих мнений отыскать корабль спасения, неизменно направляющий путь по звезде, данной ему для руководства: и звезда эта вечно сияет, никогда не заволакивало ее никакое облако; она видима для всех глаз, во всех областях; она пребывает над нашими головами и днем и ночью. И если только ему единожды доказано, что весь распорядок духовного мира есть следствие удивительного сочетания первоначальных понятий, брошенных самим Богом в нашу душу, с воздействием нашего разума на эти идеи, ему станет также ясно, что сохранение этих основ, их передача из века в век, от поколения к поколению, определяется особыми законами и что есть, конечно, некоторые видимые признаки, по которым можно распознать среди всех святынь, рассеянных по земле, ту, в которой, как в святом ковчеге, содержится непреложный залог истины.

Сударыня! Ранее, чем мир созрел для восприятия новых истин, которые должны были затем на него излиться, в то время как заканчивалось воспитание человеческого рода развитием всех его собственных сил, смутное, но глубокое чувство позволяло от времени до времени немногим избранникам провидеть светлый след звезды правды, которая протекала по своей орбите. Так Пифагор, Сократ, Зороастр и в особенности Платон узрели неизреченное сияние, и чело их озарено было необычайным отблеском. Их взоры, обращенные на ту точку, откуда должно было взойти новое солнце, до некоторой степени различали его зарю. Но они не смогли возвыситься до познания абсолютной истины, потому что с той поры, как человек изменил свою природу, истина нигде не проявлялась [для него] во всем блеске, и невозможно было ее распознать сквозь туман, который ее заволакивал. Напротив, в новом мире, если человек все еще не распознает этой истины, то это только добровольное ослепление: если он сходит с надежного пути, то это не что иное, как преступное подчинение темному началу, оставленному в его сердце с единой целью сделать более действенным его присоединение к истине.

Вы, конечно, предвидите, сударыня, к чему клонится все это рассуждение: вытекающие из него последствия сами представляются уму. В дальнейшем мы ими и займемся. Я уверен, что вы овладеете ими без труда. Впрочем, мы не станем более прерывать свою мысль такими отступлениями, которые на этот раз встретились нам

по пути, и сможем беседовать более последовательно и методично. Прощайте, сударыня.

Письмо третье

Absorpta est mors ad victoriam...*

* "Поглощена смерть победою..."

Первое послание Павла к Коринфянам (I Кор., XV, 54), книга пророка Исайи (Исайя, XXV, 8).

Размышления наши о религии перешли в философское рассуждение, а оно вернуло нас снова к религиозной идее. Теперь станем опять на философскую точку зрения: мы ее не исчерпали. Рассматривая религиозный вопрос в свете чистого умозрения, мы религией лишь завершаем вопрос философский. К тому же, как бы ни была сильна вера, разум должен уметь опираться на силы, заключающиеся в нем самом. Есть души, в которых вера непременно должна в случае нужды найти доводы в разуме. Мне кажется, к числу таких душ как раз принадлежите и вы. Вы слишком сроднились со школьной философией, вера ваша слишком недавнего происхождения, привычки ваши слишком далеки от той замкнутой жизни, в которой простое благочестие само себя питает и собой довольствуется, вы поэтому не сможете руководиться одним только чувством. Вашему сердцу без рассуждений не обойтись. Правда, в чувстве таится много озарений, сердцу несомненно присущи великие силы; но чувство действует на нас временно, и вызываемое им волнение не может длиться постоянно. Наоборот, добытое рассуждение остается всегда с нами. Продуманная идея нас никогда не покидает, каково бы ни было душевное настроение, между тем как идея, только прочувствованная, неустойчива и изменчива: все зависит от силы, с какой бьется наше сердце. А сверх того, сердца не даются по выбору: какое в себе нашел, с тем и приходится мириться, разум же свой мы сами постоянно создаем.

Вы утверждаете, что от природы расположены к религиозной жизни. Я часто думал об этом, и мне кажется, вы ошибаетесь. За природную потребность вы принимаете случайно вызванное неопределенное чувство, мечтательную прихоть воображения. Нет, не так, не с таким беспокойным пылом отдаются настоящему призыванию, раз оно найдено в жизни; тогда принимают судьбу свою с твердой решимостью, со спокойной уверенностью. Конечно, можно и даже должно себя переделывать, для христианина уверенность в такой возможности и сознание своего долга в этом отношении - предмет веры и самое важное из чаяний. Христианское учение рассматривает совокупность всего на основе возможного и необходимого перерождения нашего существа, и именно к этому должны быть направлены все наши усилия. Но пока мы не почувствовали, что наша ветхая природа упраздняется и что зарождается в нас новый человек, созданный Христом, мы должны использовать все средства, чтобы приблизить этот желанный переворот: ведь он и не может наступить, пока мы на это не направим целиком все свои силы.

Впрочем, как вы знаете, мы не собираемся здесь исследовать философию во всем ее объеме; задача наша скромнее: раскрыть не то, что содержится в философии, а скорее то, чего в ней нет. Надеюсь, это не окажется выше наших сил. Для верующей души это единственное средство понимать и обращать себе на пользу человеческую науку, но в то же время надо знать, в чем состоит эта наука, и по возможности все в ней рассмотреть с точки зрения наших верований.

Монтень сказал: "l'obeir est le propre office d'une ame raisonnable, reconnaissant un celest superior et bienfacteur". Как вы знаете, он не считается умом, склонным к вере:

пусть же эта мысль скептика послужит нам на этот раз руководящим текстом: подчас хорошо завербовать себе союзников из вражьего стана; это соответственно ослабляет силы противной стороны.

Прежде всего, нет иного разума, кроме разума подчиненного; это без сомнения так; но это еще не все. Взгляните на человека; всю жизнь он только и делает, что ищет, чему бы подчиниться. Сначала он находит в себе силу, сознаваемую им отличную от силы, движущей все вне его; он ощущает жизнь в себе; в то же время он убеждается, что [внутренняя его] сила не безгранична; он ощущает собственное ничтожество; тогда он замечает, что вне его стоящая сила над ним властвует и что он вынужден ей подчиниться, в этом вся его жизнь. С самого первого пробуждения разума эти два рода познания, одно - силы, внутри нас находящейся и несовершенной, другое - силы, вне нас стоящей и совершенной, - сами собой проникают в сознание человека. И хотя они доходят до нас не в таких ясных и определенных очертаниях, как познания, собираемые нашими чувствами или переданные нам при сношениях с другими людьми, все же все наши идеи о добре, долге, добродетели, законе, а также и им противоположные, рождаются только от этой ощущаемой нами потребности подчиниться тому, что зависит не от нашей преходящей природы, не от волнений нашей изменчивой воли, не от увлечений наших тревожных желаний. Вся наша активность есть лишь проявление силы, заставляющей нас стать в порядок общий, в порядок зависимости. Соглашаемся ли мы с этой силой или противимся ей, - все равно, мы вечно под ее властью. Поэтому нам только и надо стараться отдать себе возможно верный отчет в ее действии на нас и, раз мы что-либо об этом узнали, предаться ей со спокойной верой: эта сила, без нашего ведома действующая на нас, никогда не ошибается, она-то и ведет вселенную к ее предназначению. Итак, вот в чем главный вопрос жизни: как открыть действие верховной силы на нашу природу.

Так понимаем мы первооснову мира духовного и, как видите, она вполне соответствует первооснове мира физического. Но по отношению к природе первооснова эта кажется нам непреодолимой силой, которой все неизбежно подчиняется, а по отношению к нам - она представляется лишь силой, действующей в сочетании с нашей собственной силой и до некоторой степени видоизменяемой последней. Таков логический вид, придаваемый миру нашим искусственным разумом. Но этот искусственный разум, которым мы своевольно заменили уделенную нам изначала долю разума мирового, этот злой разум, столь часто извращающий предметы в наших глазах и заставляющий нас видеть их вовсе не такими, каковы они на самом деле, все же не в такой мере затемняет абсолютный порядок вещей, чтобы лишить нас способности признать главенство подчиненности над свободой и зависимость устанавливаемого нами для себя закона - от общего закона мирового. Поэтому разум этот отнюдь не препятствует нам, принимая свободу, как данную реальность, признавать зависимость подлинною реальностью духовного порядка, совершенно так, как мы это делаем по отношению к порядку физическому. Итак, все силы ума, все его средства познания основываются лишь на его покорности. Чем более он себя подчиняет, тем он сильнее. И перед человеческим разумом стоит один только вопрос: знать, чему он должен подчиниться. Как только мы устраним это верховное правило всякой деятельности, умственной и нравственной, так немедленно впадаем в порочное рассуждение или в порочную волю. Назначение настоящей философии только в том и состоит, чтобы, во-первых, утвердить это положение, а затем показать, откуда исходит этот свет, который нами должен руководить в жизни.

Отчего, например, ни в одном из своих действий разум не возвышается до такой степени, как в математических исчислениях? Что такое исчисление? Умственное действие, механическая работа ума, в которой рассуждающей воле нет места.

Откуда эта чудодейственная мощь анализа в математике? Дело в том, что ум здесь действует в полном подчинении данному правилу. Отчего так много дает наблюдение в физике? Оттого, что оно преодолевает естественную склонность человеческого разума и дает ему направление, диаметрально противоположное обычному ходу мысли: оно ставит разум по отношению к природе в подчиненное положение, ему присущее *. Каким образом достигла своей высокой достоверности натурфилософия? Сводя разум до совершенно подчиненной отрицательной деятельности. Наконец, в чем действие блестящей логики, сообщившей этой философии такую исполинскую силу? Она сковывает разум, она подводит его под всемирное ярмо повиновения и делает его столь же слепым и подвластным, как та самая природа, которую он исследует. Единый путь, говорит Бэкон, отверстый человеку для владычества над природой, есть тот самый, который ведет в Царство Небесное: войти туда можно лишь в смиренном образе ребенка **.

* Почему древние не умели наблюдать? Потому что они не были христианами. (Прим. П. Я. Чаадаева.)

** *Novum organum*, (Прим. П. Я. Чаадаева.)

Далее. Что такое логический анализ, как не насилие разума над самим собою? Дайте разуму волю, и он будет действовать одним синтезом. Аналитическим путем мы можем идти лишь с помощью чрезвычайных усилий над самими собой: мы постоянно сбиваемся на естественный путь, синтетический. С синтеза и начал человеческий разум, и именно синтез есть отличительная черта науки древних. Но как ни естественен синтез, как он ни законен, и часто даже более законен, чем анализ, несомненно, все же к наиболее деятельным проявлениям мысли принадлежат именно процессы подчинения, анализа. С другой стороны, всмотревшись в дело внимательно, находим, что величайшие открытия в естественных науках - чистые интуиции, совершенно самостоятельные, то есть что они истекают из синтетического начала. Но заметьте, что, хотя интуиция и составляет по существу своему свойство человеческого разума и является одним из самых деятельных его орудий, мы все же не можем дать себе в ней полного отчета, как в других наших способностях. Дело в том, что мы ею владеем не в том чистом и простом виде, как другими способностями, в этой способности есть нечто, принадлежащее высшему разуму, ей дано лишь отражать этот высший разум в нашем. И потому-то мы и обязаны интуиции самыми блестящими нашими открытиями.

Таким образом, ясно, что человеческий разум не достигает самых положительных своих знаний чисто внутренней своей силой, а направляется непременно извне. Следовательно, настоящая основа нашей умственной мощи, в сущности, не что иное, как своего рода логическое самоотречение, однородное с самоотречением нравственным и вытекающее из того же закона.

Впрочем, природа познается нами не только через опыт и наблюдение, а также и через рассуждение. Всякое природное явление есть силлогизм с большей и меньшей посылками и выводом. Следовательно, сама природа внушает уму путь, которому он должен следовать для ее познания; стало быть, и тут он только повинуется закону, который перед ним раскрывается в самом движении вещей. Таким образом, когда древние, например, стоики, с их блестящими предчувствиями, толковали о подражании природе, о повиновении ей, а согласованности с ней, они, находясь еще ближе нас к началу всех вещей и не разбив еще, подобно нам, мира на части, лишь провозглашали это основное начало духовной природы, именно то, что никакая сила, никакой закон не создаются нами из себя.

Что же, касается побуждающего нас действовать начала, которое есть не что иное, как желание собственного блага, то к чему бы пришло человечество, если бы понятие об этом благе было одной лишь выдумкой нашего разума? Что ни век, что

ни народ имели бы тогда о нем свою особую идею. Как могло бы человечество в целом шествовать вперед в своем беспредельном прогрессе, если бы в сердце человека не было одного мирового понятия о благе, общего всем временам и всем странам и, следовательно, не человеком созданного? В силу чего наши действия становятся нравственными? Не делает ли их таковыми то повелительное чувство, которое заставляет нас покоряться закону, уважать истину? По ведь закон только потому и закон, что он не от нас исходит; истина потому и истина, что она не выдумана нами. Мы иногда, устанавливаем правило поведения, отступающее от должного, но это лишь потому, что мы не в силах устранить влияние наших склонностей на наше суждение; в этих случаях нам предписывают закон наши склонности, а мы ему следуем, принимая его за общий мировой закон. Конечно, есть и такие люди, которые как будто без всяких усилий сообразуются со всеми предписаниями нравственности; таковы некоторые великие личности, которыми мы восхищаемся в истории. Но в этих избранных душах чувство долга развилось не через мышление, а через те таинственные побуждения, которые управляют людьми помимо их сознания, в виде великих наставлений, которые мы, не ища их, находим в самой жизни и которые гораздо сильнее нашей личной мысли. Они истекают из мысли, общей всем людям: ум бывает поражен то примером, то счастливым стечением обстоятельств, поднимающих нас выше самих себя, то благоприятным устройством всей жизни, заставляющим нас быть такими, какими мы без этого никогда бы не были; все это живые уроки веков, которыми наделяются по неведомому нам закону определенные личности; и если ходячая психология не отдает себе отчета в этих таинственных пружинах духовного движения, то психология более углубленная, принимающая наследственность человеческой мысли за первое начало духовной природы, находит в этом разрешение большей части своих вопросов. Так, если героизм добродетели или вдохновение гения и не вытекли из мысли отдельного человека, они являются все же плодом мысли протекших веков. И все равно, мыслили мы или не мыслили, кто-то уже мыслил за нас еще до нашего появления на свет; в основе всякого нравственного действия, как бы оно ни казалось самостоятельным и оторванным, всегда лежит, следовательно, чувство долга, а тем самым - и подчинения.

Теперь посмотрим, как бы вышло, если бы человек мог довести свою подчиненность до совершенного лишения себя своей свободы. Из только что сказанного ясно, что это было бы высшей ступенью человеческого совершенства. Ведь всякое движение души его вызывалось бы тем самым началом, которое производит все другие движения в мире. Тогда исчез бы теперешний его отрыв от природы и он бы слился с нею. Ощущение своей собственной воли выделяет его теперь из всеобщего распорядка и делает из него обособленное существо; а тогда в нем бы проснулось чувство мировой воли, или, говоря иными словами, - внутреннее ощущение, глубокое сознание своей действительной причастности ко всему мирозданию. Теперь он проникнут своей собственной обособляющей идеей, личным началом, разобщающим его от всего окружающего и затуманивающим в его глазах все предметы; но это отнюдь не составляет необходимого условия его собственной природы, а есть только следствие его насильственного отчуждения от природы всеобщей, и если бы он отрешился от своего нынешнего пагубного Я, то разве он не нашел бы вновь и идею, и всеобъемлющую личность, и всю мощь чистого разума в его изначальной связи с остальным миром? И разве тогда все еще стал бы он ощущать себя живущим этой узкой и жалкой жизнью, которая его побуждает относить все к себе и глядеть на мкр только через призму своего искусственного разума? Конечно нет, он снова начал бы жить жизнью, которую даровал ему сам господь Бог в тот день, когда он извлек его из небытия. Вновь обрести эту исконную жизнь и предназначено высшему напряжению наших дарований. Один великий гений

когда-то сказал, что человек обладает воспоминанием о какой-то лучшей жизни: великая мысль, не напрасно брошенная на землю; но вот чего он не сказал, а что сказать следовало, - но здесь лежит предел, которого не мог переступить ни этот блестящий гений, ни какой-либо другой в ту пору развития человеческой мысли, - это то, что утраченное и столь прекрасное существование может быть нами вновь обретено, что это всецело зависит от нас и не требует выхода из мира, который нас окружает.

Время и пространство - вот пределы человеческой жизни, какова она ныне. Но прежде всего, кто может мне запретить вырваться из удручающих объятий времени? Откуда почерпнул я самую идею времени? - Из памяти о прошедших событиях. Но что же такое эта самая память? - Не что иное, как действие воли: это видно из того, что мы помним не более того, что желаем вспомнить; иначе весь ряд событий, сменявшихся на протяжении моей жизни, оставался бы постоянно в моей памяти, теснился бы без перерыва у меня в голове; а между тем, наоборот, даже в то время, когда я даю полную свободу своим мыслям, я воспринимаю лишь воспоминания, связанные с данным состоянием души, с волнующим меня чувством, с занимающей меня мыслью. Мы строим образы прошлого точно так же, как образы будущего. Что же мешает мне отстранить призрак прошлого, неподвижно стоящий позади меня, подобно тому, как я могу по желанию уничтожить колеблющееся видение будущего, парящее впереди, и выйти из того промежуточного момента, называемого настоящим, момента столь краткого, что его уже нет в то самое мгновение, когда я произношу выражающее его слово? Все времена мы создаем себе сами, в этом нет сомнения; Бог времени не создал; он дозволил его создать человеку. Но в таком случае, куда делось бы время, эта пагубная мысль, обступающая и гнетущая меня отовсюду? Не исчезнет ли оно совершенно из моего сознания, не рассеется ли без остатка мнимая его реальность, столь жестко меня подавляющая? Моему существованию нет более предела; нет преград видению безграничного; мой взор погружается в вечность; земной горизонт исчез; небесный свод не упирается в землю на краях безграничной равнины, стелющейся перед моими глазами; я вижу себя в беспредельном пребывании, не разделенном на дни, на часы, на мимолетные мгновения, но в пребывании вечно едином, без движения и без перемен, где все отдельные существа исчезли друг в друге, словом, где все пребывает вечно. Всякий раз, как дух наш успевает сбросить с себя оковы, которые он сам же себе и выковал, ему доступен этот род времени, точно так, как и тот, в котором он ныне пребывает. Зачем порывается он постоянно за пределы непосредственной смены вещей, измеряемой однозвучными колебаниями маятника? Зачем кидается он беспрестанно в иной мир, где не слышен роковой бой часов? Дело в том, что беспредельность есть естественная оболочка мысли; в ней-то и есть единственное, истинное время, а другое - мы создаем себе сами, а для чего - неизвестно.

Обратимся к пространству: но ведь всем известно, что мысль не пребывает в нем; она логически приемлет условия осязаемого мира, но сама она в нем не обитает. Какую бы, следовательно, реальность ни придавали пространству, это факт вне мысли, и у него нет ничего общего с сущностью духа; это форма, пускай неизбежная, но все же лишь одна форма, в которой нам представляется внешний мир. Следовательно, пространство еще менее, чем время, может закрыть путь в то новое бытие, о котором здесь идет речь.

Так вот та высшая жизнь, к которой должен стремиться человек, жизнь совершенства, достоверности, ясности, беспредельного познания, но прежде всего - жизнь совершенной подчиненности; жизнь, которой он некогда обладал, но которая ему также обещана и в будущем. А знаете ли вы, что это за жизнь? Это Небо: и другого неба помимо этого нет. Вступить же в него мы можем отныне же, сомнений тут быть не должно. Ведь это не что иное, как полное обновление нашей природы в

данных условиях, последняя грань усилий разумного существа, конечное предназначение духа в мире. Я не знаю, призван ли каждый из нас пройти этот огромный путь, достигнет ли он его славной конечной цели, но то, что предельной точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние нашей природы с природой всего мира, это я знаю, ибо только таким образом может наш дух вознестись в совершенство всего, а это и есть подлинное выражение высшего разума *.

* Здесь надлежит заметить две вещи, во-первых, что мы не имели в виду утверждать, будто в этой жизни содержится все небо целиком: оно в этой жизни лишь начинается, ибо смерть более не существует с того дня, как она была побеждена спасителем; и во-вторых, что здесь, конечно, говорится не о слиянии вещественном во времени и пространстве, а лишь о слиянии в идее и в принципе. (Прим. П. Я. Чаадаева).

Но пока мы еще не достигли предела нашего паломничества, до того как свершится это великое слияние нашего существа с существом всемирным, не можем ли мы по крайней мере раствориться в мире одухотворенных существ? Разве не в нашей власти в любой степени отождествлять себя с подобными нам существами? Мы ведь способны усваивать себе их нужды, их выгоды, переноситься в их чувства так, что мы, наконец, начинаем жить только для них и чувствовать только через них. Это без сомнения верно. Как бы вы ни называли эту нашу удивительную способность сливаться с тем, что происходит вокруг нас, - симпатией, любовью, состраданием - она во всяком случае присуща нашей природе. Мы при желании можем до такой степени сродниться с нравственным миром, что все совершающееся в нем и нам известное мы будем переживать как совершающееся с нами; более того, если даже мировые события нас и не очень заботят, довольно одной уже общей, но глубокой мысли о делах других людей: одного только внутреннего сознания нашей действительной связи с человечеством, чтобы заставить наше сердце сильнее биться над судьбою всего человеческого рода, а все наши мысли и все наши поступки сливать с мыслями и поступками всех людей в одно созвучное целое. Воспитывая это замечательное свойство нашей природы, все более и более развивая его в душе, мы достигнем таких высот, с которых целиком раскроется перед нами остальная часть всего предстоящего нам пути; и благо тем из смертных, кто, раз поднявшись на эту высоту, сумеет на ней удержаться, а не низринется вновь туда, откуда началось его восхождение. Все существование наше до тех пор было непрерывным колебанием между жизнью и смертью, длительной агонией; тут началась настоящая жизнь, с этого часа от нас одних зависит идти по пути правды и добра, ибо с этой поры закон духовного мира перестал быть для нас непроницаемой тайной.

Но так ли протекает жизнь кругом нас? Совсем наоборот. Закон духовной природы обнаруживается в жизни поздно и неясно, но, как вы видите, его вовсе не приходится измышлять [он не зависит от нас], как и закон физический. Все, что от нас требуется, это - иметь душу раскрытую для этого познания, когда оно предстанет перед нашим умственным взором. В обычном ходе жизни, в повседневных заботах нашего ума, в привычной дремоте души нравственный закон проявляется гораздо менее явно, чем закон физический. Правда, он над нами безраздельно господствует, определяет каждое наше действие, каждое движение нашего разума, но вместе с тем, сохраняя в нас, посредством какого-то дивного сочетания, через непрерывно длящееся чудо, сознание нашей самодеятельности, он налагает на нас грозную ответственность за все, что мы делаем, за каждое биение нашего сердца, даже за каждую мимолетную мысль, едва затронувшую наш ум; и несмотря на это, он ускользает от нашего разумения в глубочайшем мраке. Что же происходит? Не зная истинного двигателя, бессознательным орудием которого он служит, человек создает

себе свой собственный закон, и этот-то закон, который он по своему же почину себе предписывает, и есть то, что он называет нравственный закон, иначе - мудрость, высшее благо, или просто закон, или еще иначе *. И этому-то хрупкому произведению собственных рук, произведению, которое он может по произволу разрушить и действительно ежечасно разрушает, человек приписывает в своем жалком ослеплении все положительное, безусловное, все непреложное, присущее настоящему закону его бытия, а между тем при помощи одного только своего разума он, очевидно, мог бы постигнуть относительно этого сокровенного начала одну лишь его неизбежную необходимость - ничего более.

* См. древних. (Прим. П. Я. Чаадаева).

Впрочем, хотя нравственный закон пребывает вне нас и независимо от нашего знания его, совершенно так, как и закон физический, есть все же существенное различие между этими двумя законами. Бесчисленное множество людей жило и теперь еще живет без малейшего понятия о вещественных движущих силах природы: Бог восхотел, чтобы человеческий разум открывал их самостоятельно и постепенно. Но как бы низко ни стояло разумное существо, как бы ни были жалки его способности, оно всегда имеет некоторое понятие о начале, побуждающем его действовать. Чтобы размышлять, чтобы судить о вещах, необходимо иметь понятие о добре и зле. Отнимите у человека это понятие, и он не будет ни размышлять, ни судить, он не будет существом разумным. Без этого понятия Бог не мог оставить нас жить хотя бы мгновение; он нас и создал с ним. И эта-то несовершенная идея, непостижимым образом вложенная в нашу душу, составляет всю сущность разумного человека. Вы только что видели, что можно было бы извлечь из этой идеи, если бы удалось восстановить ее в ее первоначальной чистоте, как она была нам сообщена сначала; следует, однако, рассмотреть и то, чего можно достичь, если отыскивать начало всех наших познаний единственно в собственной нашей природе.

Сокольники, 1 июля [1830}

Письмо четвертое

Воля есть не что иное, как род мышления. Представлять ли себе волю конечную или бесконечную, все равно приходится признать некую причину, которая заставляет ее действовать: поэтому ее должно рассматривать не как начало свободное, а как начало обусловленное.

Спиноза. De anima

Как мы видели, всякое естественное явление можно рассматривать как силлогизм; но его можно также рассматривать как число. При этом или заставляют природу выразиться в числе и рассматривают ее в действии - это наблюдение, или исчисляют в отвлечении - это вычисление; или же, наконец, за единицы принимаются найденные в природе величины, и производят вычисления над ними; в этом случае прилагают вычисление к наблюдению, и этим завершают науку. Вот и весь круг положительного знания. Необходимо только иметь в виду, что количеств, собственно говоря, в природе не существует; если бы они там были, то аналитический вывод был бы равнозначим творческому. Да будет, ибо совершенная достоверность его не была бы ничем ограничена и, следовательно, была бы всемогуществом *. Действительные количества, то есть абсолютные единицы, имеются лишь в нашем уме; во вселенной находятся лишь числовые видимости. Эти видимости, в форме которых материальность открывается нашим взорам, они-то и дают нам понятие о числе: вот основа математического восприятия. Итак, числовое выражение предметов не что иное, как идеологический механизм, который мы создаем из данных природы. Сначала мы переводим эти данные в область отвлеченности,

затем мы их воспринимаем как величины; и наконец, поступаем с ними по своему усмотрению. Математическая достоверность, следовательно, имеет также свой предел; будем остерегаться упустить это из виду.

* В таком случае уже не вера двигала бы горы, а Алгебра. [Прим. П. Я. Чаадаева.]

В приложении к явлениям природы наука чисел без сомнения вполне достаточна для эмпирического мышления, а также и для удовлетворения материальным нуждам человека; но никак нельзя сказать, чтобы в порядке безусловного она в той же мере соответствовала требуемой умом достоверности. Косное, неподвижное, геометрическое рассуждение, каким его по большей части воспринимают геометры, есть нечто, лишенное разума, безбожное. Если бы в математике заключалась совершенная достоверность, число было бы чем-то реальным. Так понимали его, например, пифагорейцы, каббалисты и им подобные, приписывавшие числам силы разного рода и находившие в них начало и сущность всех вещей. Они были вполне последовательны, так как мыслили природу состоящую из числовых величин, и ни о чем другом не помышляли. Но мы видим в природе еще нечто другое, мы с полным сознанием верим в Бога, и когда мы осмеливаемся вкладывать в руку Создателя циркуль, то допускаем нелепость; мы забываем, что мера и предел одно и то же, что бесконечность есть первое из свойств, именно она, можно сказать, и составляет его божественность, так что, превращая высшее существо в измерителя, мы лишаем его свойственной ему вечной природы и низводим его до нашего уровня.

Бессознательно нами владеют еще языческие представления: в этом и есть источник такого рода заблуждений. Число не могло заключаться в божественной мысли; творения истекают из Бога, как воды потока, без меры и конца, но человеку необходима точка соприкосновения между его ограниченным разумом и бесконечным разумом Бога, разделенными беспредельностью, и вот почему он так любит замыкать божественное всемогущество в размеры собственной природы. Здесь мы видим настоящий антропоморфизм, в тысячу раз более вредный, нежели антропоморфизм простецов, не способных в своем пламенном устремлении приблизиться к Богу и представить себе духовное существо иным, чем то, которое совместимо с их пониманием, и поэтому низводящих Божество до существа, подобного себе. В сущности, и философы поступают не лучше. "Они приписывают Богу, - сказал великий мыслитель, который в этом хорошо разобрался, - разум, подобный их собственному. Почему? потому что они в своей природе не знают ничего лучше собственного разума. А между тем божественный разум есть причина всему, разум человека есть лишь следствие, что же может быть общего между тем и другим? Разве то же, - прибавляет он, - что между созвездием Пса, сияющим на небе, и тем псом, который бежит по улице, - одно только имя" *.

Спиноза. (Прим. П. Я. Чаадаева.)

Как видите, все положительное наук, называемых точными, исходит из того, что они занимаются количествами; иными словами, предметами ограниченными. Естественно, что ум, имея возможность полностью обнять эти предметы, достиг в познании их высочайшей достоверности, ему доступной. Но вы видите также и то, что, как ни значительно прямое наше участие в создании этих истин, мы их все же не из себя извлекаем. Первые идеи, из которых истекают эти истины, даны нам извне. Итак, вот какие логические следствия вытекают сразу из самой природы этих познаний, наиболее близких к доступной нам достоверности: они относятся лишь к чему-то ограниченному, они не рождаются непосредственно в нашем мозгу, мы в этой области понятий развиваем наши способности лишь по отношению к конечному, и мы здесь ничего не выдумываем. Так что же мы найдем, если захотим приложить приемы, основанные на достижении этих познаний, к познаниям другого рода? Что абсолютная форма познанного предмета, каков бы последний ни был, должна быть непременно формой чего-то конечного; что место его в познавательной области

должно находиться вне нас. Ведь именно таковы естественные условия достоверности. А в каком положении на основании этого окажемся мы по отношению к предметам в области духовной? Прежде всего, где предел данных, входящих в область психологии и морали? Предела нет. Затем, где совершается -моральное действие? В нас самих. Итак, тот прием, который применяется разумом в области положительных понятий, может ли быть им использован в этой другой области? Отнюдь нет. Но, в таком случае, как достигнуть здесь очевидности? Что касается меня, я этого не знаю. Странно то, что, как ни просто это рассуждение, философия никогда до него не доходила. Никогда она не решалась отчетливо установить это существенное отличие двух областей человеческого знания; она всегда смешивала конечное с бесконечным, видимое с невидимым, поддающееся восприятию чувств с неподдающимся. Если иногда она и говорила другое, в глубине своей мысли она никогда не сомневалась, что мир духовный можно познать так же, как и мир физический, изучая его с циркулем в руке, вычисляя, измеряя величины духовные, как и материальные, подвергая опытам существо, одаренное разумом, как существо неодушевленное. Удивительно, как ленив человеческий разум. Чтобы избавиться от напряжения, которого требует ясное уразумение высшего мира, он искажает этот мир, он себя самого искажает и шествует затем своим путем как ни в чем не бывало. Мы еще увидим, почему он так поступает.

Не надо думать к тому же, будто в естественных науках все сводится к наблюдению и опыту. Одна из тайн их блестящих методов - в том, что наблюдению подвергают именно то, что может на самом деле стать предметом наблюдения. Если хотите, это начало отрицательное, но оно сильнее, плодотворнее положительного начала. Именно этому началу обязана своим успехом новая химия; это начало очистило общую физику от метафизики и со времен Ньютона сделалось ее главным правилом и основанием ее метода. А что это означает? Не иное что, как то, что совершенство этих наук, все их могущество проистекают из умения всецело ограничить себя принадлежащей им по праву областью. Вот и все. А с другой стороны, в чем самый процесс наблюдения? Что делаем мы, когда наблюдаем движение светил на небесном своде или движение жизненных сил в организме: когда мы изучаем силы, движущие тела или сотрясающие молекулы, из коих тела состоят; когда занимаемся химией, астрономией, физикой, физиологией? Мы делаем вывод из того, что было, к тому, что будет; связываем факты, следующие в природе непосредственно друг за другом, и выводим из этого ближайшее заключение. Вот неизбежный путь опытного метода. Но, в порядке нравственном, известно ли вам что-нибудь, что бы совершилось в силу постоянного, неотвратимого закона, по которому вы могли бы заключать, как там, от одного факта к другому и предугадывать таким образом с уверенностью последующее на основании предшествующего? Ни в коем случае. Напротив, здесь совершается все лишь в силу свободных актов воли, не связанных между собою, не подчиненных другому закону, кроме своей прихоти; одним словом, все сводится здесь к действию хотения и свободы человека. К чему послужил бы здесь метод опытный? Ровно ни к чему.

Вот чему, в сфере тех познаний, где ему дана возможность достигнуть своей высшей достоверности, учит нас естественный ход человеческого разума. Перейдем к поучению, которое заключается в самом содержании этих познаний?

Положительные науки были, разумеется, всегда предметом изучения, но, как вы знаете, лет сто тому назад они сразу возвысились до теперешнего их состояния. Три открытия сообщили им толчок, вознесший их на эту высоту: анализ - создание Декарта, наблюдение - создание Бэкона и небесная геометрия - создание Ньютона. Анализ ограничивается областью математики и нас здесь не касается; заметим только, что он вызвал приложение начала необоснованной принудительности к нравственным наукам, а это сильно повредило их успехам. Новый способ изучать

естественные науки, открытый Бэконом, имеет величайшую важность для всей философии, ибо этот метод придал ей эмпирическое направление, а оно надолго определило весь строй современной мысли. Но в настоящем нашем исследовании нас особенно занимает закон, в силу которого все тела тяготеют к одному общему центру; этим законом мы и займемся.

С первого взгляда кажется, будто все силы природы сводятся к всемирному тяготению; а между тем эта сила природы отнюдь не единственная; и именно поэтому закон, которому природа подвластна, имеет, на наш взгляд, такой глубокий смысл. Само по себе притяжение не только не объясняет всего в мире, но оно вообще ничего еще не объясняет. Если бы оно одно действовало, то вся вещественность обратилась бы в одну бесформенную и косную массу. Всякое движение в природе производится двумя силами, возбуждающими в движимом стремление в двух противоположных направлениях, и в космическом движении эта истина проявляется всего явственнее. А между тем астрономы, удостоверившись, что тела небесные подлежат закону тяготения и что действия этого закона могут быть вычислены с точностью, превратили всю систему мира в геометрическую задачу, и теперь самый общий закон природы воспринимают при помощи некоторого рода математической фикции, под одним именем Притяжения или Всемирного Тяготения. Но есть еще другая сила, без которой тяжесть ни к чему бы не послужила: это Начальный толчок, или Вержение. Итак, вот две движущие силы природы: Тяготение и Вержение. На отчетливой идее совокупного действия этих двух сил, как она нам дается наукой, покоится все учение о Параллелизме двух миров: сейчас нам приходится только применить эту идею к совокупности тех двух сил, которые нами ранее установлены в духовной области, одной - силы, сознаваемой нами, - это наша свободная, воля, наше хотение, другой, нами не сознаваемой, - это действие на наше существо некоей вне нас лежащей силы, а затем посмотреть, каковы будут последствия*.

* Без сомнения, применения открытого Ньютоном закона в области предметов осязаемых чрезвычайно, и число их будет с каждым днем еще возрастать. Но не следует забывать, что закон падения тяжестей установлен Галилеем, закон движения планет - Кеплером. Ньютону принадлежит только счастливое вдохновение - связать воедино оба эти закона. Впрочем, все относящееся к этому славному открытию чрезвычайно важно. Немудрено, что один геометр сожалел, что нам неизвестны некоторые из формул, которыми Ньютон пользовался при своей работе; наука, конечно, много бы выиграла от находки этих талисманов гения. Но можно ли серьезно думать, что весь секрет гениальности Ньютона, вся его мощь, заключается в одних его математических приемах? Разве мы не знаем, что в этом возвышенном уме было еще что-то сверх способности к вычислениям? Я вас спрашиваю, рождалась ли когда-либо подобная мысль в разуме безбожном? Истина такой огромной величины дана ли была когда-либо миру душой неверующей? И можно ли представить себе, будто в то время, когда Ньютон бежал от опустошавшей Лондон эпидемии в Кембридж и закон вещественности блеснул его духу и разодралась завеса, скрывавшая природу, в благочестивой душе его были одни только цифры? Странное дело, есть еще люди, которые не могут подавить в себе улыбки жалости при мысли о Ньюtone, комментирующем Апокалипсис, Не понимают, что великие открытия, составляющие гордость всего человеческого рода, могли быть сделаны только тем самым Ньютоном, каков он был, гением столь же покорным, как и всеобъемлющим, столь же смиренным, как и мощным, и отнюдь не тем высокомерным человеком, каким его хотят представить. Повторяю еще раз: видано ли, чтобы человек, не говоря уже отрицающий Бога, но хотя бы только равнодушный к религии, раздвинул, как он, границы науки за пределы, ей, казалось, предначертанные? (Прим. П. Я. Чаадаева).

Нам известно притяжение во множестве его проявлений; оно беспрестанно обнаруживается перед нашими глазами; мы его измеряем; мы имеем о нем знание вполне достоверное. Все это, как вы видите, точно соответствует представлению, которое мы имеем о нашей собственной силе. О Вержении мы знаем только его абсолютную необходимость; и совершенно то же знаем мы и о божественном действии на нашу душу. И тем не менее мы одинаково убеждены в существовании как той, так и другой силы. Итак, в обоих случаях мы имеем: познание отчетливое и точное одной силы, познание смутное и темное - другой, но совершенную достоверность обеих. Таково непосредственное приложение представления о вещественном порядке мира, и вы видите, что оно совершенно естественно является уму. Но должно еще принять во внимание, что астрономический анализ распространяет закон нашей солнечной системы и на все звездные системы, заполняющие небесные пространства, а молекулярная теория принимает его за причину самого образования тел и что мы имеем полное право почитать закон нашей системы общим едва ли не для всего мироздания; таким образом, эта точка зрения получает чрезвычайно важное значение.

Впрочем, все разграничения наши между существами, все измышляемые нами между ними ради удобства или по произволу различия, все это не имеет никакого применения к самому творческому началу. Что бы мы ни делали, в нас есть внутреннее ощущение реальности высшей по сравнению с окружающей нас видимой реальностью. И эта иная реальность не есть ли единственно истинно реальная, реальность объективная, которая охватывает всецело существо и растворяет нас самих во всеобщем единстве? В этом-то единстве стираются все различия, все пределы, которые устанавливает разум в силу своего несовершенства и ограниченности своей природы: и тогда-то во всем бесконечном множестве вещей остается одно только действие, единственное и мировое. И в самом деле, одинаково, как внутреннее ощущение нашей собственной природы, так и восприятие вселенной не позволяет нам постигнуть все сотворенное иначе, как в состоянии непрерывного движения. Таково мировое действие. Поэтому в философии идея движения должна предварять всякую другую. Но идею движения приходится искать в геометрии, ибо лишь там мы находим ее очищенной от какой бы то ни было произвольной метафизики и только в линейном движении можем мы воспринять абсолютное знание всякого движения вообще. И что же? Геометр не может себе представить никакого движения, кроме движения сообщенного. Он поэтому принужден исходить из того, что движущееся тело само по себе инертно и что всякое движение есть следствие побуждения со стороны. Итак, и в наивысшем отвлечении, и в самой природе мы постоянно возвращаемся к какому-то действию [action], внешнему и первичному, независимо от рассматриваемого предмета. Стало быть, идея движения сама по себе, по неумолимому требованию логики, вызывает представление о таком действии, которое отлично от всякой силы и от всякой причины, находящихся в самом движущемся предмете.

И вот почему, между прочим, человеческому разуму так трудно освободиться от старого заблуждения, будто все идеи возникают в нем через внешние чувства. Все дело в том, что в мире нет ничего, в чем мы были бы более склонны сомневаться, чем в присущей нам самостоятельной силе, и несостоятельность системы сенсуалистов единственно в том, что система эта приписывает вещественному непосредственное воздействие на невещественное и таким образом заставляет тела сталкиваться с сознаниями, вместо того, чтобы приводить в соприкосновение [и здесь] предметы одной и той же природы, как в области вещества, то есть одни сознания с другими сознаниями. И, наконец, проникнемся мыслью, что в чистой идее движения вещественность решительно ни при чем: все различие между движением материальным и движением в области духовной состоит в том, что элементы

первого - пространство и время, а последнего - одно только время; а ведь очевидно, что идея времени уже достаточна для возникновения идеи движения. Итак, закон движения есть закон всего в мире, и то, что мы сказали о физическом движении, вполне применимо к движению умственному или нравственному.

Что же должно заключить из всего сказанного? Что нет ни малейшего затруднения принять собственные действия человека за причину побочную [principe occasionnel]: за силу, которая действует, лишь поскольку она соединяется с другой высшей силой, точно так, как притяжение действует лишь в совокупности с силой вержения. Вот то, к чему мы хотели прийти.

Может быть, подумают, что в этой системе нет места для философии нашего Я. И ошибутся. Напротив, эта философия прекрасно уживается с изложенной системой: она только сведена здесь к своей действительной значимости, вот и все. Из того, что мы сказали о двояком действии, управляющем мирами, отнюдь не следует, чтобы наша собственная деятельность сводилась к нулю; значит, должно разобраться в присущей нам силе и пытаться понять ее по возможности правильно. Человек постоянно побуждается силой, которой он в себе не ощущает, это правда; но это внешнее действие имеет на него влияние через сознание, следовательно, как бы ни дошла до меня идея, которую я нахожу в своей голове, нахожу я ее там только потому, что сознаю ее. А сознавать - значит действовать. Стало быть, я на самом деле и постоянно действую, хотя в то же время подчиняюсь чему-то, что гораздо сильнее меня, - я сознаю. Одно не устраняет другого, одно следует за другим, его не исключая, и первый факт мне так же доказан, как и последний. Вот если меня спросят, как именно возможно такое действие на меня извне, это совсем другой вопрос, и вы, конечно, понимаете, что здесь не время его рассматривать: на него должна ответить философия высшего порядка. Простому разуму следует только установить факт внешнего воздействия и принять его за одно из своих основных верований; остальное его не касается. Впрочем, кто не знает, как чужая мысль вторгается в наше сознание? Как мы подчиняемся мнениям, убеждениям других? Всякий, кто об этом размышлял, отлично понимает, что один разум подчиняется другому и вместе с тем сохраняет всю свою силу, все свои способности. Итак, несомненно, великий вопрос о свободе воли, как бы он ни был запутан, не представлял бы затруднений, если бы умели вполне проникнуться идеей, что природа существа, одаренного разумом, заключается только в сознании и что, поскольку одаренное разумом существо сознает, оно не утрачивает ничего из своей природы, каким бы путем сознание в него ни вливалось.

Дело в том, что шотландская школа, так долго царившая в философском мире, спутала все вопросы Идеологии. Вы знаете, что она берется найти источник всякой человеческой мысли и все объяснить, обнаружив нить, связывающую настоящее представление с представлением предшествовавшим. Дойдя до происхождения известного числа идей путем их ассоциации, заключили, что все совершающееся в нашем сознании происходит на том же основании, и с тех пор не пожелали принимать ничего другого. Поэтому вообразили, что все сводится к факту сознательности, и на этом-то факте была построена вся эмпирическая психология. Но позвольте спросить, разве есть в мире что-либо более согласное с нашим ощущением, нежели происходящая постоянно такая смена идей в нашем мозгу, в которой мы не принимаем никакого участия? Разве мы не твердо убеждены в такой непрерывной работе нашего ума, которая совершается помимо нас? Задача, впрочем, не была бы нисколько разрешена, если бы даже и удалось свести все наши идеи к некоторому ограниченному числу их и вполне установить их источник. Конечно, в нашем уме не совершается ничего, что не было бы так или иначе связано с совершившимся там ранее; но из этого никак не следует, чтобы каждое изменение моей мысли, изменение форм, которые она поочередно принимает, вызывалось

моей собственной силой: здесь, следовательно, имеет место еще огромное воздействие, совершенно отличное от моего. Итак, эмпирическая теория устанавливает в лучшем случае некоторые явления нашей природы, но о всей совокупности явлений она не дает никакого понятия.

Наконец, собственное воздействие человека исходит действительно от него лишь в том случае, когда оно соответствует закону. Всякий раз, как мы от него отступаем, действия наши определяются не нами, а тем, что нас окружает. Подчиняясь этим чуждым влияниям, выходя из пределов закона, мы себя уничтожаем. С другой стороны, покоряясь божественной силе, мы никогда не имеем полного сознания этой силы; поэтому она никогда не может попирать нашей свободы. Итак, наша свобода заключается лишь в том, что мы не ощущаем нашей зависимости: этого достаточно, чтобы почтеть себя совершенно свободными и солидарными со всем, что мы делаем, со всем, что мы думаем. К несчастью, человек понимает свободу иначе: он почитает себя свободным, говорит Ион, как дикий осленок.*

* Книга Иова, XI, 12: "Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку".

Да, я свободен, могу ли я в этом сомневаться? Пока я пишу эти строки, разве я не знаю, что я властен их не писать? Если Провидение и определило мою судьбу бесповоротно, какое мне до этого дело, раз его власть мне не ощутительна? Но с идеей о моей свободе связана другая ужасная идея, страшное, беспощадное последствие ее - злоупотребление моей свободой и зло как его последствие. Предположим, что одна-единственная молекула вещества один только раз приняла движение произвольное, что она, например, вместо стремления к центру своей системы, сколько-нибудь отклонилась в сторону от радиуса, на котором находится. Что же при этом произойдет? Не сдвинется ли с места всякий атом в бесконечных пространствах? Не потрясется ли тотчас весь порядок мироздания? Мало того, все тела стали бы по произволу в беспорядке сталкиваться и взаимно разрушать друг друга. Но что же? Понимаете ли вы, что это самое делает каждый из нас в каждое мгновение? Мы то и дело вовлекаемся в произвольные действия, и всякий раз мы потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей. Таково зрелище, которое мы представляем Всевышнему. Почему же он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмутившихся тварей? И еще удивительнее, - зачем наделил он их этой страшной силой? Он так восхотел. Сотворим человека по нашему образу и подобию, - сказал он. Этот образ Божий, его подобие - это наша свобода. Но, сотворив нас столь удивительным образом, он к тому же одарил нас способностью знать, что мы противимся своему Создателю. Можно ли поверить, что, даровав нам эту удивительную силу, как будто идущую вразрез с мировым порядком, он не восхотел дать ей должное направление, не восхотел просветить нас, как мы должны ее использовать? Нет. Слову Всевышнего внимало сначала все человечество, олицетворенное в одном человеке, в котором заключались все грядущие поколения; впоследствии он просветил отдельных избранных, дабы они хранили истину на земле, и наконец, признал достойным одного из нас быть облеченным божественным авторитетом, быть посвященным во все его сокровенности, так что он стал с ним одно, и возложил на него поручение сообщить нам все, что нам доступно из божественной тайны. Вот чему учит нас священная мудрость. Но наш собственный разум не говорит ли нам то же самое? Если бы не поучал нас Бог, разве мог бы пробыть хотя бы мгновение мир, мы сами и что бы то ни было? Разве все не превратилось бы вновь в хаос? Это несомненно так, и наш собственный разум, как скоро он выходит из ослепления обманчивой самонадеянности, из полного погружения в свою гордыню, говорит то же, что и вера, а именно что Бог необходимо

должен. был поучать и вести человека с первого же дня его создания и что он никогда не переставал и не перестанет поучать и вести его до скончания века.

Письмо пятое

Much of the soul they talk, but all awry. Milton.

Вы видите, все приводит нас снова к абсолютному положению: закон не может быть дан человеческим разумом самому себе точно так же, как разум этот не в силах предписать закон любой другой созданной вещи. Закон духовной природы нам раз навсегда предуказан, как и закон природы физической: если мы находим последний готовым, то нет ни малейшего основания полагать, будто дело обстоит иначе с первым. Однако свет нравственного закона сияет из отдаленной и неведомой области подобно сиянию тех солнц, которые движутся в иных небесах и лучи которых, правда ослабленные, все же до нас доходят, нам надо иметь очи отверстыми для восприятия этого света, как только он заблестит перед нами. Вы видели, мы пришли к этому заключению путем логических выводов, которые вскрыли некоторые элементы тождества между тем и другим порядком: материальным и духовным. Школьная психология [хотя и] имеет почти ту же отправную точку, приводит к другим последствиям. Она заимствует у естественных наук один лишь прием наблюдения, то есть именно то, что менее всего применимо к предмету ее изучения. И вот вместо того, чтобы возвыситься до подлинного единства всего, она только смешивает то, что должно оставаться навеки отдельным, вместо закона она и находит хаос. Да, сомнения нет, имеется абсолютное единство во всей совокупности существ: это именно и есть то, что мы по мере сил пытаемся доказать; скажу больше: в этом-то и заключается основное верование всякой здоровой философии. Но это единство объективное, стоящее вне ощущаемой нами действительности; нет сомнения, это факт огромной важности, и он бросает чрезвычайный свет на великое ВСЕ: он создает логику причин и следствий, но он не имеет ничего общего с тем пантеизмом, который исповедует большинство современных философов, печальное учение, сообщающее ныне свою ложную окраску всем философским направлениям и ввергающее все до единой современные системы, как бы они ни расточали своих обетов в верности спиритуализму, в необходимость обращаться с фактами духовного порядка совершенно так, как будто они имеют дело с фактами порядка материального.

Ум по природе своей стремится к единству, по, к несчастью, пока еще не поняли как следует, в чем заключается настоящее единство вещей. Чтобы в этом удостовериться, достаточно взглянуть на то, как большинство мыслящих понимает бессмертие души. Вечно живой Бог и душа, подобно ему вечно живая, одна абсолютная бесконечность и другая абсолютная бесконечность рядом с первой, - разве это возможно? Абсолютная бесконечность не есть ли абсолютное совершенство? Как же могут пребывать рядом два вечных существа, два существа совершенных? А дело вот в чем. Так как нет никакого логического основания предполагать в существе, состоящем из сознания и материи, одновременное уничтожение обеих составных частей, то человеческому уму естественно было прийти к мысли, что одна из этих частей может пережить другую. Но на этом и надо было остановиться. Пусть я проживу сто тысяч лет после того мгновения, которое я называю смертью и которое есть чисто физическое явление, с моим сознательным существом не имеющее ничего общего, отсюда еще далеко до бессмертия. Как все инстинктивные идеи человека, идея бессмертия души была сперва простой и разумной; но, попав затем на слишком тучную почву Востока, она там разрослась

свыше меры и вылилась, в конце концов, в нечестивый догмат, в котором творение смешивается с творцом, так что черта, навеки их разделяющая, стирается, дух подавляется огромной тяжестью беспредельного будущего, все смешивается и запутывается. А затем - эта идея вторглась вместе со многим другим, унаследованным от язычников, в христианство, в этой новой силе она нашла себе надежную опору и смогла таким образом совершенно покорить себе сердце человека. Между тем всякому известно, что христианская религия рассматривает бессмертие, как награду за жизнь совершенно святую, итак, если вечную жизнь приходится еще заслужить, то заранее обладать ею, очевидно, нельзя; будучи воздаянием за совершенную жизнь, как может она быть исходом существования, протекшего в грехе? Удивительное дело. Хотя дух человеческий осенен высочайшим из светочей, он все же не в силах овладеть полной истиной и постоянно мечется между истинным и ложным.

Всякая философия, приходится сказать это, по необходимости заключена в роковом круге без исхода. В области нравственности она сначала предписывает сама себе закон, а затем начинает ему подчиняться, неизвестно, ни как, ни почему; в области метафизики она всегда предварительно устанавливает какое-то начало, из которого затем по ее воле вытекает целый мир вещей, ею же созданных. Это - вечное *petitio principii*, и при этом оно неизбежно: иначе все участие разума в этом деле свелось бы, очевидно, к нулю.

Вот, например, как поступает самая положительная, самая строгая философия нашего времени. Она начинает с установления факта, что орудием познания является наш разум, а поэтому необходимо прежде всего научиться его познать; без этого, утверждает она, мы не сможем использовать его должным образом. Далее философия эта и принимается изо всех сил рассекать и разбирать самый разум. Но при помощи чего производит он эту необходимую предварительную работу, эту анатомию сознания? Не посредством ли этого самого разума? Итак, вынужденная в этой своей наипервейшей и главной операции взяться за орудие, которым она, по собственному признанию, не умеет еще владеть, как может она прийти к искомому познанию? Этого понять нельзя. Но и это еще не все. Более уверенная в себе, чем все прежние философские системы, она утверждает, что с разумом надо обращаться точь-в-точь как с внешними предметами. Тем же оком, которое вы направляете на [внешний] мир, вы можете рассмотреть и свое собственное существо: точно так, как вы ставите перед собой мир, можете вы перед собой поставить и самого себя, и как вы над миром размышляете и производите над ним опыты, так размышляйте и проводите опыты над самим собой. Закон тождества, будучи общим природе и разуму, позволяет вам одинаково обращаться и с нею и с ним. На основании ряда тождественных явлений материального порядка вы выводите заключение об общем явлении, что же мешает вам из ряда одинаковых фактов заключать к всеобщему факту и в порядке умственном? Как вы в состоянии заранее предвидеть факт физический, с одинаковой уверенностью вы можете предвидеть и факт духовный; смело можно в психологии поступать так, как в физике. Такова эмпирическая философия. По счастью, философия эта стала в настоящее время уделом лишь нескольких отсталых умов, которые упорно топчутся на старых путях.

Но вот свет уже пробивается сквозь обступающую нас тьму, и все движение философии, вплоть до эклектизма, который так благодушен и уступчив, что, кажется, только и помышляет о самоупраждении, наперебой стремится вернуть нас на более надежные пути. Среди умственных течений современности есть, в частности [одно], которое приходится особенно выделить. Это род тонкого платонизма, новое порождение глубокой и мечтательной Германии, это преисполненный возвышенной вдумчивой поэзии трансцендент[аль]ный идеализм, который уже потряс ветхое здание философских предрассудков в самой их основе. Но [новое] направление

пребывает пока на таких эфирных высотах, на которых захватывает дыхание. Она как бы витает в прозрачном воздухе, порою светясь каким-то мягким и нежным отблеском, порою теряясь в неясных или мрачных сумерках, так что можно принять его за одно из фантастических видений, которые подчас появляются на южном небе, а через мгновение исчезают, не оставляя следа ни в воздухе, ни в памяти. Будем надеяться, что прекрасная и величественная мысль эта вскоре спустится в обитаемые пространства: мы будем ее приветствовать с живейшим сочувствием. А пока предоставим ей шествовать по ее извилистому пути, а сами пойдем намеченной себе дорогой, более надежной.

Так вот, если, как мы убедились, движение в мире нравственном, как и движение в мире физическом, - следствие изначального толчка, то не следует ли из этого, что то и другое движение и в дальнейшем подчинены одним и тем же законам, а следовательно, все явления жизни духа могут быть выведены по аналогии? Значит, подобно тому, как столкновение тел в природе служит продолжением этого первого толчка, сообщенного материи, столкновение сознания также продолжает движение духа; подобно тому, как в природе всякая вещь связана со всем, что ей предшествует и что за ней следует, так и всякий отдельный человек и всякая мысль людей связаны со всеми людьми и со всеми человеческими мыслями, предшествующими и последующими: и как едина природа, так, по образному выражению Паскаля, и вся последовательная смена людей есть один человек, пребывающий вечно, и каждый из нас - участник работы сознания, которая совершается на протяжении веков. Наконец, подобно тому, как некая строящая и непрерывная работа элементов материальных или атомов, то есть воспроизведение физических существ, составляет материальную природу, подобная же работа элементов духовных или идей, то есть воспроизведение душ, составляет природу духовную; и если я постигаю всю осязаемую материю как одно целое, то я должен одинаково воспринимать и всю совокупность сознания, как единое и единственное сознание.

Главный рычаг образования душ есть, без сомнения, слово: без него нельзя себе представить ни происхождения сознания в отдельной личности, ни его развития в человеческом роде. Но одно только слово недостаточно для того, чтобы вызвать великое явление всемирного сознания, слово далеко не единственное средство общения между людьми, оно, следовательно, совсем не обнимает собой всю духовную работу, совершающуюся в мире. Тысячи скрытых нитей связывают мысли одного разумного существа с мыслями другого; наши самые сокровенные мысли находят всевозможные средства вылиться наружу; рассеиваясь, скрещиваясь между собой, они сливаются воедино, сочетаются, переходят из одного сознания в другое, обсеменяют, оплодотворяют - и, в конце концов, порождают общее сознание. Иногда случается, что проявленная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее; а между тем - движение передалось, толчок произошел; в свое время мысль найдет другую, родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире сознания. Вы знаете такой физический опыт: подвешивают несколько шариков в ряд: отстраняют первый шарик, и последний шарик отскакивает, а промежуточные остаются неподвижными. Вот так передается и мысль, проносясь сквозь головы людей *.

Сколько великих и прекрасных мыслей, откуда-то явившихся, охватили бесчисленные массы и поколения. Сколько возвышенных истин живет и действует, властвуя или светясь среди нас, и никто не знает, ни откуда явились эти внушительные силы или блестящие светочи, ни как они пронеслись через времена и пространства. Цицерон где-то сказал: "Природа так устроила человеческий облик, что он выявляет чувства, скрытые в сердце: что бы мы ни чувствовали, глаза наши всегда это отражают". Это совершенно верно: в разумном существе все выдает его затаенную мысль; весь человек целиком сообщается ближнему, и так происходит

зарождение сознания. Ибо сознание возникает ничуть не более чудесными путями, чем все остальное. Здесь такое же зарождение, как и всякое другое. Один и тот же закон имеет силу при любом воспроизведении, какова бы ни была его природа: все возникает через соприкосновение или слияние существ: никакая сила, никакая власть, обособленная от других, не может оказать своего действия. Необходимо только принять во внимание, что самый факт зарождения происходит где-то вне нашего непосредственного наблюдения. Подобно тому, как в физическом мире вы наблюдаете действие различных природных сил - притяжения, ассимиляции, сродства и т. п., но в последнем счете подходите к факту неуловимому, к самому акту, сообщающему физическую жизнь, - и в мире духовном мы ясно различаем последствия, вызванные различными человеческими силами, но, в конце концов, мы подходим к чему-то, что ускользает от нашего непосредственного восприятия, к самому акту передачи духовной жизни.

* Известно, что знаменитое доказательство бытия Божия, приписываемое Декарту, восходит к Ансельму, жившему в XI в. Доказательство оставалось погребенным в каком-то уголке человеческого сознания в течение почти 500 лет, пока не явился Декарт и не вручил его философии. (Прим. П.Я. Чаадаева).

А что такое мировое сознание, которое соответствует мировой материи и на лоне которого протекают явления духовного порядка подобно тому, как явления порядка физического протекают на лоне материальности? Это не что иное, как совокупность всех идей, которые живут в памяти людей. Для того чтобы стать достоянием человечества, идея должна пройти через известное число поколений; другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции. Но речь идет здесь отнюдь не только о тех традициях, которые сообщаются человеческому уму историей и наукой: эти традиции составляют лишь часть мировой памяти. А много есть и таких, которые никогда не оглашались перед народными собраниями, никогда не были воспеты рапсодами, никогда не были начертаны ни на колоннах, ни в хартиях; самое время их возникновения никогда не было проверено исчислением и приурочено к течению светил небесных; критика никогда не взвешивала их на своих пристрастных весах; их влагает в глубину душ неведомая рука, их сообщает сердцу новорожденного первая улыбка матери, первая ласка отца. Таковы всеильные воспоминания, в которых сосредоточен опыт поколений: всякий в отдельности их воспринимает с воздухом, которым дышит. И в этой-то среде совершаются все чудеса сознания. Правда, этот сокрытый опыт веков в целостности не доходит до каждой частицы человечества; но он все же составляет духовную сущность вселенной, он переливается в жилах человеческих рас, он воплощается в образовании их тел и, наконец, - служит продолжением других традиций, еще более таинственных, не имеющих корней на земле, но составляющих отправную точку всех обществ: твердо установлено, что в каждом племени, как бы оно ни обособилось от основного мирового движения, всегда находятся некоторые представления, более или менее отчетливые, о высшем существе, о добре и зле, о том, что справедливо и что несправедливо: без этих представлений невозможно было бы существование племени совершенно так же, как и без грубых произведений земли, которую племя попирает, и деревьев, которые дают ему приют. Откуда эти представления? Никто этого не знает; предания - вот и все; докопаться до их происхождения невозможно: дети восприняли их от отцов и матерей - вот и вся их родословная. А затем на эти первоначальные понятия нисходят века, на них скапливается опыт, на них создается наука, из этой невидимой основы вырастает человеческий дух. И вот как, путем наблюдений действительности, мы подошли к тому самому, к чему привело нас и рассуждение: к начальному толчку, без которого, как мы убедились, ничего бы не двинулось в природе и который необходим здесь точно так, как и там.

И скажите на милость, можете ли вы допустить сознательное существо без всякой

мысли? Можете ли вы представить себе в человеке разум, ранее чем он пустил его в дело? Можете ли вы себе представить что-либо в голове ребенка до того, как ему было преподано нечто свидетелями появления его на свет? Находили детей среди лесных зверей, нравы которых эти дети себе усвоили; они затем восстанавливали свои умственные способности; но эти дети не могли быть покинуты с первых дней своего существования. Детеныш самого сильного животного неизбежно погибнет, оставленный самкой тотчас же после родов; а человек - слабейшее из животных, он требует кормления грудью в течение шести или семи месяцев, даже череп его остается незакостеневшим несколько дней после рождения, как бы он мог просуществовать первое время своей жизни, не попав в материнские руки? Значит, дети эти до разлуки с родителями восприняли духовное семя. Я ручаюсь, что только открылись на свет его глаза, если бы он ни разу не ощутил на себе взгляда одного из себе подобных, не воспринял бы ни единого звука их голоса и в таком отчуждении вырос до сознательного возраста, ничем не отличался бы от других млекопитающих, которых натуралист причислит к тому же роду. Может ли быть что-либо бессмысленнее, чем предположение, будто каждая человеческая личность, как животное, является начинателем своей породы? А между тем именно такова гипотеза, служащая основой всего идеологического построения. Предполагают, что это крохотное неформировавшееся существо, еще связанное через пуповину с чревом матери, - одарено разумом. Но чем это подтверждается? Неужели по гальваническому содроганию, которое в нем заметно, определите вы небесный дар, ему уделенный? Или в бессмысленном его взгляде, в его слезах, в пронзительном крике распознали вы существо, созданное по образу Божию? Есть в нем, спрашиваю я, какая-нибудь мысль, которая бы не вытекала из небольшого круга понятий, вложенных в его голову матерью, кормилицей или другим человеческим существом в первые дни его бытия? Первый человек не был крикливым ребенком, он был человеком сложившимся, поэтому он вполне мог быть подобен Богу и, разумеется, был ему подобен: но, конечно, уж вовсе не подобен образу Божию людской зародыш. Истинную природу человека составляет то, что из всех существ он один способен просвещаться беспредельно: в этом и состоит его превосходство над всеми созданиями. Но для того, чтобы он мог возвыситься до свойств разумного существа, необходимо, чтобы чело его озарилось лучом высшего разума. В день создания человека Бог с ним беседовал и человек слушал и понимал его: таково истинное происхождение человеческого разума; психология никогда не отыщет объяснения более глубокого. В дальнейшем он частью утратил способность воспринимать голос Бога, это было естественным следствием дара полученной им неограниченной свободы. Но он не потерял воспоминания о первых божественных словах, которые раздались в его ухе. Вот этот-то первый глагол Бога к первому человеку, передаваемый от поколения к поколению, поражает человека в колыбели, он-то и вводит человека в мир сознания и превращает его в мыслящее существо. Тем же действием, которое Бог совершал, чтобы исторгнуть человека из небытия, он пользуется и сейчас для создания всякого нового мыслящего существа. Это именно Бог постоянно обращается к человеку через посредство ему подобных.

Таким образом, представление о том, будто человеческое существо является в мир с готовым разумом, не имеет, как вы видите, никакого основания ни в опытных данных, ни в отвлеченных доводах. Великий закон постоянного и прямого воздействия высшего начала повторяется в общей жизни человека, как он осуществляется во всем творении. Там - это сила, заключающаяся в количестве, здесь - это принцип, заключающийся в традиции; но в обоих случаях повторяется одно и то же: внешнее воздействие на существо, каково бы оно ни было, воздействие сначала мгновенное, а затем - длительное и непрерывное.

Как бы ни замыкаться в себе, как бы ни копаться в сокровенных глубинах своего

сердца, мы никогда там ничего не найдем, кроме мысли, унаследованной от наших предшественников на земле. Это разумение, как его ни разлагать, как его ни расчленять на части, оно всегда останется разумением всех поколений, сменившихся со времен первого человека и до нас; и когда мы размышляем о способностях нашего ума, мы пользуемся лишь более или менее удачно этим самым мировым разумом, с тем, чтобы наблюдать ту его долю, которую мы из него восприняли в продолжение нашего личного существования. Что означает то или иное свойство души? Это идея, идея, которую мы находим в своем уме вполне готовой, не зная, как она в нем появилась, а эта идея, в свою очередь, вызывает другую. Но первая-то идея, откуда, по-вашему, может в нас возникнуть она, если не из того океана идей, в который мы погружены? Лишенные общения с другими сознаниями, мы [мирно] щипали бы траву, а не рассуждали бы о своей природе. Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое. Подобно всей остальной части в созданной вселенной, ничего в мире сознании не может быть постигнуто совершенно обособленным, существующим самим собою. И, наконец, если справедливо, что в верховной или объективной действительности разум человеческий на самом деле лишь постоянное воспроизведение мысли Бога, то его разум во времени, или разум субъективный, очевидно, тот, который он, благодаря свободной воле, сам себе создал. Правда, школьная мудрость не считается со всем этим: для нее существует только один и единственный разум; для нее данный человек и есть тот, каким он вышел из рук создателя; [хотя и] созданный свободным, он не употребил во зло своей свободы; при всем своем своеволии, он, подобно неодушевленным предметам, пребыл неизменным, повинуюсь непреклонной силе; заблуждения без счета, грубейшие предрассудки, им порожденные, преступления, которыми он запятнал себя, - ничего из всего этого якобы не оставило следа в его душе. Вот он - тот самый, каким он был в тот день, когда божественное дыхание оживило его земное существо, он столь же чист, столь же непорочен, как тогда, когда еще ничто не осквернило его юной природы; для этой школьной мудрости человек постоянно один и тот же; всегда и всюду; мы именно таковы, какими должны были быть; и вот - это скопище мыслей, неполных, фантастических, несогласованных, которое мы именуем человеческим умом, по ее мнению, оно именно и есть чистый разум, небесная эманация, истекшая из самого Бога; ничто его не изменило, ничто его не коснулось. Так рассуждает человеческая мудрость.

Тем не менее ум человеческий всегда ощущал потребность сызнова себя перестроить по идеальному образцу. До появления христианства он только и делал, что работал над созданием этого образца, который постоянно ускользал от него и над которым он постоянно продолжал трудиться; это и составляло великую задачу древности. В то время человек поневоле был обречен на искание образца в самом себе. Но удивительно то, что и в наши дни, имея перед собой возвышенные наставления, преподанные в христианстве, философ все еще подчас упорно пребывает в том кругу, в котором был замкнут древний мир, а не помышляет о поисках образца совершенного разума вне человеческой природы, не думает, например, обратиться к возвышенному учению, предназначенному сохранить в среде людей древнейшие традиции мира, к той удивительной книге, которая столь явственно носит на себе печать абсолютного разума, то есть именно того разума, который он ищет и не может найти. Стоит только несколько вдуматься с искренней верой в учение, раскрытое откровением, - и вас поразит то величавое выражение духовного совершенства, которое в этом учении царит нераздельно, вам откроется, что все выдающиеся умы, вами там встреченные, составляют лишь части одного обширного разума, который заполняет и пронизывает тот мир, в котором прошедшее, настоящее и будущее составляют одно неразделимое целое; вы почувствуете, что

все там ведет к постижению природы такого разума, который не подчинен условиям времени и пространства, и [именно] того, которым человек некогда обладал, который он утратил и который он некогда вновь обретет [тот самый], который был нам явлен в лице Христа. Заметьте, что по этому вопросу философский спиритуализм ничем не разнится от противоположной системы, ибо все равно, признаем ли мы человеческое разумение за пустое место, согласившись со старой формулой сенсуалистов - нет ничего в уме, что бы не было сперва в ощущении, или же предположим ли мы, что разум действует по присущей ему собственной силе и повторим за Декартом: я замыкаю все свои ощущения и я живу, и в том и в другом случае мы все же будем иметь дело с тем разумом, который мы сейчас в себе находим, а не с тем, который был нам дарован изначально; поэтому мы будем исследовать вовсе не подлинное духовное начало, но начало искаженное, искалеченное, извращенное произволом человека.

Впрочем, из всех известных систем, несомненно, самая глубокая и плодотворная по своим последствиям есть та, которая стремится, для того чтобы отчетливо понять явление разумности, добросовестно построить совершенно отвлеченный разум, существо исключительно мыслящее, не восходя при этом к источнику духовного начала. Но так как материалом, из которого эта система строит свой образец, служит ей человек в теперешнем его состоянии, то она все-таки вскрывает перед нами разум искусственный, а не разум первоначальный. Глубокий мыслитель, творец этой философии, не усмотрел, что все дело [заключалось] только в том, чтобы представить себе разум, который бы имел одно волевое устремление: обрести и вызвать к действию разум высший, но такой разум, свойство [mode] движения которого заключалось бы в совершенном подчинении закону, подобно всему существующему, а вся его сила сводилась бы к безграничному стремлению слиться с тем другим разумом. Если бы он избрал это своей исходной точкой, он бы, конечно, пришел к идее разума воистину чистого, потому что разум этот был бы простым отражением абсолютного разума и анализ этого разума привел бы его без сомнения к последствиям огромной важности, а сверх того, он не впал бы в ложное учение об автономии человеческого разума, о каком-то императивном законе, находящемся внутри самого нашего разума и дающем ему способность собственным порывом возвышаться до всей полноты доступного ему совершенства, наконец, другая, еще более самонадеянная философия, философия всемогущества человеческого Я, не была бы ему обязана своим существованием.

Но все же надо воздать ему должное: его создание и в теперешнем своем виде заслуживает с нашей стороны всяческого уважения. Тому направлению, которое он придал философским знаниям, обязаны мы всеми здоровыми идеями современности, сколько их ни есть в мире; и мы сами - только логическое последствие его мысли. Он положил уверенной рукой пределы человеческому разуму; он выяснил, что разум этот принужден принять два самых глубоких своих убеждения, а именно: существование Бога и неограниченное свое бытие, не имея возможности их доказать; он научил нас тому, что существует верховная логика, которая не подходит под нашу мерку и которая вне зависимости от нашей воли над нами тяготеет, и что имеется мир, отличный от нашего, а вместе с тем пребывающий одновременно с тем, в котором мы мечемся, и мир этот наш разум вынужден признать под опасением в противном случае самому ввергнуться в небытие, и, наконец, что именно отсюда мы должны почерпнуть все наши познания, чтобы затем применить их к миру реальному. И все же в конце концов приходится признать и то, что ему было предназначено только проложить новый путь философии и что если он оказал великие услуги человеческому духу, то лишь в том смысле, что заставил его вернуться вспять.

В итоге произведенного нами сейчас исследования получается следующее.

Сколько ни есть на свете идей, все они последствия некоторого числа передаваемых традиционно понятий, которые так же мало составляют достояние отдельного разумного существа, как природные силы - принадлежность особи физической. Архитипы Платона, врожденные идеи Декарта, аргюи Канта, все эти различные элементы мысли, которые всеми глубокими мыслителями по необходимости признавались за предваряющие какие бы то ни было проявления души, за предшествующие всякому опытному знанию и всякому самостоятельному действию ума, все эти изначала существующие зародыши разума сводятся к идеям, которые переданы нам от сознания, предварявших нас к жизни и предназначенных ввести нас в наше личное бытие. Без восприятия этих результатов человек был бы просто-напросто двуногим или двуруким млекопитающим, ни более ни менее, и это несмотря на лицевой угол, близкий к прямому, несмотря на размер своей черепной коробки, несмотря на вертикальное положение своего тела и т. д. Вложенные чудесным образом в сознание первого человеческого существа в день его создания той же рукой, которая направила планету по эллиптической орбите, которая привела в движение мертвую материю, которая даровала жизнь органическому существу, - именно эти-то идеи сообщили разуму свойственное ему движение и кинули человека в тот огромный круг, который ему предначертано пробежать. Идеи эти, возникающие посредством взаимного соприкосновения душ и в силу таинственного начала, которое увековечивает в созданном сознании действие сознания верховного, поддерживают жизнь природы духовной таким же порядком, как и сходное соприкосновение и аналогичное начало поддерживают жизнь природы материальной. Так продолжается во всем первичное воздействие; так оно выливается окончательно в некое Провидение, постоянное и непосредственное, простирающее свое действие на всю совокупность существа.

Раз это установлено, ясно, что нам еще должно исследовать: нам остается лишь проследить движение этих традиций в истории человеческого рода, чтобы выяснить, каким образом и где идея, первоначально вложенная в сердце человека, сохранилась в целостности и чистоте.

Письмо шестое

Можно сказать, каким образом среди стольких потрясений, гражданских войн, заговоров, преступлений и безумий - в Италии, а потом и в прочих христианских государствах находилось столько людей, трудившихся на поприще полезных или приятных искусств; в странах, подвластных туркам, мы этого не видим.

Вольтер. Опыт о нравах.

Сударыня,

В предыдущих моих письмах вы видели, как важно правильно понять развитие мысли на протяжении веков; но вы должны были найти в них еще и другую мысль: раз проникшись этой основной идеей, что в человеческом духе нет никакой иной истины, кроме той, которую своей рукой вложил в него Бог, когда извлекал его из небытия, - уже невозможно рассматривать движение веков, как это делает обиходная история. Тогда становится ясно, что не только некое провидение или некий совершенно мудрый разум руководит ходом явлений, но и что он оказывает прямое и непрерывное действие на дух человека. В самом деле: если только допустить, что разум твари, чтобы прийти в движение, должен был первоначально получить толчок, исходивший не из его собственной природы, что его первые идеи и первые знания не могли быть не чем иным, как чудесными внушениями высшего разума, то не следует ли отсюда, что эта сформировавшая его сила должна была и

на всем протяжении его развития оказывать на него то самое действие, которое она произвела в ту минуту, когда сообщила ему его первое движение?

Такое представление об исторической жизни разумного существа и его прогрессе должно было, впрочем, стать для вас совершенно привычным, если вы вполне усвоили себе те идеи, относительно которых мы с вами предварительно условились. Вы видели, что чисто метафизическое рассуждение безусловно доказывает непрерывность внешнего воздействия на человеческий дух. Но в этом случае даже не было надобности прибегать к метафизике; вывод неоспорим сам по себе, отвергнуть его - значит отвергнуть те посылки, из которых он вытекает. Но если подумать о характере этого постоянного воздействия божественного разума в нравственном мире, то нельзя не заметить, что оно не только должно быть, как мы сейчас видели, сходно с его начальным импульсом, но и должно осуществляться таким образом, чтобы человеческий разум оставался совершенно свободным и мог развивать всю свою деятельность. Поэтому нет ничего удивительного в том, что существовал народ, в недрах которого традиция первых внушений Бога сохранялась чище, чем среди прочих людей, и что от времени до времени появлялись люди, в которых как бы возобновлялся первичный факт нравственного бытия. Устраните этот народ, устраните этих избранных людей, - и вы должны будете признать, что у всех народов, во все эпохи всемирной истории и в каждом отдельном человеке божественная мысль раскрывалась одинаково полно и одинаково жизненно, - а это значило бы, конечно, отрицать всякую индивидуальность и всякую свободу в духовной сфере, иными словами - отрицать данное. Очевидно, что индивидуальность и свобода существуют лишь постольку, поскольку существует разность умов, нравственных сил познаний. А приписывая лишь немногим лицам, одному народу, нескольким отдельным интеллектам, специально предназначенным быть хранителями этого клада, чрезвычайную степень покорности начальным внушениям или особенно широкую восприимчивость по отношению к той истине, которая первоначально была внедрена в человеческий дух, мы утверждаем лишь моральный факт, совершенно аналогичный тому, который постоянно совершается на наших глазах, именно что одни народы и личности владеют известными познаниями, которых другие народы и лица лишены.

В остальной части человеческого рода эти великие предания также сохранялись более или менее в чистом виде, -смотря по положению каждого народа, и человек всюду мог идти вперед по предначертанной ему дороге лишь при свете этих могучих истин, рожденных в его мозгу не его собственным, а иным разумом; но источник света был один на земле. Правда, этот светильник не сиял, подобно человеческим знаниям; он не распространял далеко вокруг себя обманчивого блеска; сосредоточенный в одном пункте, вместе и лучезарный, и незримый, как все великие таинства мира, пламенный, но скрытый, как пламя жизни, он все освещал, этот неизреченный свет, и все тянулось к этому общему центру, между тем как с виду все блистало собственным сиянием и стремилось к самым противоположным целям *. Но когда наступил момент великой катастрофы в духовном мире, все пустые силы, созданные человеком, мгновенно исчезли, и среди всеобщего пожара уцелела одна только скиния вечной истины. Только так может быть понято религиозное единство истории, и только с такой точки зрения эта концепция возвышается до настоящей исторической философии, в которой разумное существо является подчиненным общему закону наравне со всем остальным творением. Я очень желал бы, сударыня, чтобы вы освоились с этой отвлеченной и глубокой точкой зрения на исторические явления; ничто не расширяет нашу мысль и не очищает нашу душу в большей степени, нежели это созерцание божественной воли, властвующей в веках и ведущей человеческий род к его конечным целям.

* Бесполезно пытаться точно определить, в каком именно месте земли находился

этот источник света; но то достоверно, что предания всех народов мира единогласно признают родиной первых человеческих познаний одни и те же страны. (Прим. П. Я. Чаадаева).

Но постараемся прежде всего составить себе философию истории, способную пролить на всю беспредельную область человеческих воспоминаний свет, который должен быть для нас как бы зарею грядущего дня. Это подготовительное изучение истории будет для нас тем полезнее, что оно само по себе может представить полную систему, которою мы в крайнем случае смогли бы удовлетвориться, если бы что-нибудь роковым образом затормозило наш дальнейший прогресс. Впрочем, не забывайте, пожалуйста, что я сообщаю вам эти размышления не с высоты кафедры и что эти письма являются лишь продолжением наших прерванных бесед, тех бесед, которые доставили мне столько приятных минут и которые, повторяю, были для меня настоящим утешением в те дни, когда я крайне нуждался в нем. Поэтому не ждите от меня в этот раз большей поучительности, чем обыкновенно, и не откажите сами, как всегда, возмещать собственной догадкой все, что окажется неполным в этом очерке.

Без сомнения, вы уже заметили, что современное направление человеческого духа побуждает его облекать все виды познания в историческую форму. Вдумываясь в философские основы исторической мысли, нельзя не признать, что она призвана теперь подняться на несравненно большую высоту, нежели на какой она держалась до сих пор; можно сказать, что ум чувствует себя теперь привольно лишь в сфере истории, что он старается ежеминутно опереться на прошлое и лишь настолько дорожит вновь возникающими в нем силами, насколько способен уразуметь их сквозь призму своих воспоминаний, понимания пройденного пути, знания тех факторов, которые руководили его движением в веках. Это направление, принятое наукою, разумеется, чрезвычайно благотворно. Пора сознать, что человеческий разум не ограничен той силой, которую он черпает в узком настоящем, - что в нем есть и другая сила, которая, сочетая в одну мысль и времена протекшие, и времена обетованные, образует его подлинную сущность и возносит его в истинную сферу его деятельности.

Но не кажется ли вам, сударыня, что повествовательная история по необходимости неполна, так как она при всяких условиях может заключать в себе лишь то, что удерживается в памяти людей, а последняя удерживает не все происходящее? Итак, очевидно, что нынешняя историческая точка зрения не может удовлетворять разума. Несмотря на полезные работы критики, несмотря на помощь, которую в последнее время старались оказать ей естественные науки, она, как видите, не сумела достигнуть ни единства, ни той высокой нравственной поучительности, какая неизбежно вытекала бы из ясного представления о всеобщем законе, управляющем сменою эпох. К этой великой цели всегда стремился человеческий дух, углубляясь в смысл минувшего; но та поверхностная ученость, которая приобретает столь разнообразными способами исторического анализа, эти уроки банальной философии, эти примеры всевозможных добродетелей, - как будто добродетель способна выставлять себя напоказ на шумном торжище света, - эта пошлая поучительность истории, никогда не создавшая ни одного честного человека, но многих сделавшая злодеями и безумцами и лишь подстрекающая затаивать в бесконечных повторениях жалкую комедию мира, - все это отвлекло разум от тех истинных поучений, которые ему предназначено черпать из человеческого предания. Пока дух христианства господствовал в науке, глубокая, хотя и плохо сформулированная, мысль распространяла на эту отрасль знания долю того священного вдохновения, которым она сама была порождена; но в ту эпоху историческая критика была еще так несовершенна, столько фактов, особенно из истории первобытных племен, сохранялись памятью человечества в столь

искаженном виде, что весь свет религии не мог рассеять этой глубокой тьмы, и историческое изучение, хотя и озаряемое высшим светом, тем не менее подвигалось ощупью. Теперь рациональный способ изучения исторических данных привел бы к несравненно более плодотворным результатам. Разум века требует совершенно новой философии истории, - философии, которая так же мало походила бы на господствующую теперь, как точные изыскания современной астрономии непохожи на элементарные гномонические наблюдения Гиппарха и других древних астрономов. Надо лишь заметить, что никогда не будет достаточно фактов, чтобы доказать все, и что уже во времена Моисея и Геродота их было больше, чем нужно, чтобы дать возможность все предчувствовать. Поэтому, сколько бы ни накапливать их, они никогда не приведут к полной достоверности, которую может дать нам лишь способ их группировки, понимания и распределения; совершенно так, как, например, опыт веков, научивший Кеплера законам движения небесных светил, сам по себе был не в силах разоблачить пред ним общий закон природы, и для этого открытия потребовалось, как известно, некое сверхъестественное озарение благочестивой мысли.

И прежде всего, к чему эти сопоставления веков и народов, которые нагромождает тщеславная ученость? Какой смысл имеют эти родословные языков, народов и идей? Ведь слепая или упрямая философия всегда сумеет отделаться от них своим старым доводом о всеобщем однообразии человеческой природы и объяснит дивное сплетение времен своей любимой теорией о естественном развитии человеческого духа, не обнаруживающем будто бы никаких признаков вмешательства божьего промысла и осуществляемом единственно собственной динамической силой его природы. Человеческий дух для нее, как известно, - снежный ком, который, катаясь, увеличивается. Впрочем, она видит всюду или естественный прогресс и совершенствование, присущие, по ее мнению, самой природе человека, или беспричинное и бессмысленное движение. Смотря по свойству ума разных своих представителей, - мрачен ли он и безнадежен или полон надежд и веры в воздаяние, - эта философия то видит в человеке лишь мошку, бессмысленно суемящуюся на солнце, то - существо, поднимающееся все выше в силу своей выпренной природы; но всегда она видит пред собою только человека, и ничего более. Она добровольно обрекла себя на невежество и, воображая, что знает физический мир, на самом деле познает из него лишь то, что он открывает праздному любопытству ума и чувствам. Потоки света, непрерывно изливаемые этим миром, не достигают ее, и когда, наконец, она решается признать в ходе вещей план, намерение и разум, подчинить им человеческий ум и принять все вытекающие отсюда последствия относительно всеобщего нравственного миропорядка, - это оказывается для нее невозможным. Итак, ни отыскивать связь времен, ни вечно работать над фактическим материалом - ни к чему не ведет. Надо стремиться к тому, чтобы уяснить нравственный смысл великих исторических эпох; надо стараться точно определить черты каждого века по законам практического разума.

К тому же, присмотревшись внимательнее, мы увидим, что исторический материал почти весь исчерпан, что народы рассказали почти все свои предания и что если отдаленные эпохи еще могут быть когда-нибудь лучше освещены (но во всяком случае не той критикой, которая умеет только рыться в древнем прахе народов, а какими-нибудь чисто логическими приемами), то - что касается фактов в собственном смысле слова - они уже все извлечены; наконец, что истории в наше время больше нечего делать, как размышлять.

Раз мы признаем это, история естественно должна войти в общую систему философии и сделаться ее составной частью. Многое тогда, разумеется, отделилось бы от нее и было бы предоставлено романистам и поэтам. Но еще больше оказалось бы в ней такого, что поднялось бы из скрывающего его доселе тумана,

чтобы занять первенствующее место в новой системе. Эти вещи получали бы характер истины уже не только от хроники: отныне печать достоверности налагалась бы нравственным разумом, подобно тому, как аксиомы естественной философии, хотя открываются опытом и наблюдением, но только геометрическим разумом сводятся в формулы и уравнения. Такова, например, та, на наш взгляд, еще столь мало понятая эпоха (и притом не по недостатку данных и памятников, но по недостатку идей), в которой сходятся все времена, в которой все оканчивается и все начинается, о которой без преувеличения можно сказать, что все прошлое рода человеческого сливается в ней с его будущим: я говорю о первых моментах христианской эры. Наступит время, я не сомневаюсь в этом, когда историческое мышление более не в силах будет оторваться от этого внушительного зрелища крушения всех древних величий человека и зарождения всех его грядущих величий. Таков и долгий период, сменивший и продолжавший эту эпоху обновления человеческого существа, - период, о котором философский предрассудок и фанатизм еще недавно создавали такое неверное представление, между тем как здесь в густом мраке скрывались столь яркие светочи и столько разнообразных сил сохранялось и поддерживалось среди кажущейся неподвижности умов, - период, который начали понимать лишь с тех пор, как исторические исследования приняли свое новое направление.

Затем выйдут из окутывающей их тьмы некоторые гигантские фигуры, затерянные теперь в толпе исторических лиц, между тем как многие прославленные имена, которым люди слишком долго расточали нелепое или преступное поклонение, навсегда погрузятся в забвение. Таковы будут, между прочим, новые судьбы некоторых библейских лиц, не понятых или презренных человеческим разумом, и некоторых языческих мудрецов, окруженных большей славой, чем какую они заслуживают, например Моисея и Сократа, Давида и Марка Аврелия. Тогда раз навсегда поймут, что Моисей указал людям истинного Бога, между тем как Сократ завещал им лишь малодушное сомнение, что Давид - совершенный образ самого возвышенного героизма, между тем как Марк Аврелий - в сущности, только любопытный пример искусственного величия и тщеславной добродетели. Точно так же о Катоне, раздирающем свои внутренности, тогда будут вспоминать лишь для того, чтобы оценить по достоинству философию, внушавшую такие неистовые добродетели, и жалкое величие, которое создавал себе человек. В ряду славных имен язычества имя Эпикура, я думаю, будет очищено от тяготеющего на нем предрассудка и память о нем возбудит новый интерес. Точно так же и другие громкие имена постигнет новая судьба. Имя Стагирита, например, будет произноситься не иначе как с известным омерзением, имя Магомета - с глубоким почтением. На первого будут смотреть, как на ангела тьмы, в течение многих веков подавлявшего все силы добра в людях; в последнем же будут видеть благодетельное существо, одного из тех людей, которые наиболее способствовали выполнению плана, предначертанного божественной мудростью для спасения рода человеческого. Наконец, - сказать ли? - своего рода бесчестие покроет, может быть, великое имя Гомера. Приговор Платона над этим развратителем людей, подсказанный ему его религиозным инстинктом, будут признавать уже не одной из его фантастических выходок, а доказательством его удивительной способности предвосхищать будущие мысли человечества. Должен наступить день, когда имя преступного оболъстителя, столь ужасным образом способствовавшего развращению человеческой природы, будет вспоминаться не иначе как с краской стыда; когда-нибудь люди должны будут с горестью раскаяться в том, что они так усердно воскурляли фимиам этому потворщику их гнуснейших страстей, который, чтобы понравиться им, осквернил священную истину предания и наполнил их сердце грязью. Все эти идеи, до сих пор едва затрагивавшие человеческую мысль или, в лучшем случае, безжизненно

покоившиеся в глубине нескольких независимых умов, навсегда займут теперь свое место в нравственном чувстве человеческого рода и станут аксиомами здравого смысла.

Но один из самых важных уроков истории, понимаемой в этом смысле, состоял бы в том, чтобы отвести в воспоминаниях человеческого ума соответствующие места народам, сошедшим с мировой сцены, и наполнить сознание существующих народов предчувствием судеб, которые они призваны осуществить. Всякий народ, отчетливо уяснив себе различные эпохи своей прошлой жизни, постиг бы также свое настоящее существование во всей его правде и мог бы до известной степени предугадать поприще, которое ему назначено пройти в будущем. Таким образом у всех народов явилось бы истинное национальное сознание, которое слагалось бы из нескольких положительных идей, из очевидных истин, основанных на воспоминаниях, и из глубоких убеждений, более или менее господствующих над всеми умами и толкающих их все к одной и той же цели. Тогда национальности, освободившись от своих заблуждений и пристрастий, уже не будут, как до сих пор, служить лишь к разъединению людей, а станут сочетаться одни с другими таким образом, чтобы произвести гармонический всемирный результат, и мы увидели бы, может быть, народы, протягивающие друг другу руку в правильном сознании общего интереса человечества, который был бы тогда не чем иным, как верно понятым интересом каждого отдельного народа.

Я знаю, что наши мудрецы ожидают этого слияния умов от философии и успехов просвещения вообще, но если мы размыслим, что народы, хотя и сложные существа, являются на деле такими же нравственными существами, как отдельные люди, и что, следовательно, один и тот же закон управляет умственной жизнью тех и других, то, мне кажется, мы придем к заключению, что деятельность великих человеческих семейств необходимо зависит от того личного чувства, в силу которого они сознают себя обособленными от остального рода человеческого, имеющими свое самостоятельное существование и свой индивидуальный интерес; что это чувство есть необходимый элемент всемирного сознания и составляет, так сказать, личное я коллективного человеческого существа; что поэтому в своих надеждах на будущее благоденствие и на безграничное совершенствование мы точно так же не вправе выделять эти большие человеческие индивидуальности, как и те меньшие, из которых первые состоят, и что надо, следовательно, все их принимать безусловно, как принципы и средства, заранее данные для достижения более совершенного состояния.

Итак, космополитическое будущее, обещаемое нам философией, - не более как химера. Надо заняться сначала выработкой домашней нравственности народов, отличной от их политической нравственности; надо, чтобы народы сперва научились знать и ценить друг друга совершенно так же, как отдельные личности, чтобы они знали свои пороки и свои добродетели, чтобы они научились раскаиваться в содеянных ими ошибках, исправлять сделанное ими зло, не уклоняться от стези добра, которою они идут. Вот, по нашему мнению, первые условия истинного совершенствования как индивидов, так равно и масс. Лишь вникая в свою протекшую жизнь, те и другие научатся выполнять свое назначение; лишь в ясном понимании своего прошлого почерпнут они силу воздействовать на свое будущее.

Вы видите, что при таком взгляде на дело историческая критика не сводилась бы только к удовлетворению суетного любопытства, но сделалась бы высочайшим из трибуналов. Она совершила бы неумолимый суд над красотою и гордостью всех веков; она тщательно проверила бы все репутации, всякую славу; она покончила бы со всеми историческими предрассудками и ложными авторитетами; она направила бы все свои силы на уничтожение лживых образов, загромождающих человеческую память, для того чтобы разум, увидев прошлое в его истинном свете, мог вывести из

него некоторые достоверные заключения относительно настоящего и с твердой надеждою устремить свой взор в бесконечные пространства, открывающиеся перед ним.

Я думаю, что одна огромная слава, слава Греции, померкла бы тогда почти совсем; я думаю, что наступит день, когда нравственная мысль не иначе как со священной печалью будет останавливаться перед этой страной обольщения и ошибок, откуда гений обмана так долго распространял по всей остальной земле соблазн и ложь *, тогда будет уже невозможно, чтобы чистая душа какого-нибудь Фенелона с нею упивалась сладострастными вымыслами, порожденными ужаснейшей испорченностью, в какую когда-либо впадало человеческое существо, и могучие умы больше не дадут себя увлечь чувственным внушениям Платона. Напротив, старые, почти забытые мысли религиозных умов, некоторых из тех глубоких мыслителей, настоящих героев мысли, которые на заре нового общества одной рукой начерчивали предстоящий ему путь, между тем как другой боролись с издыхающим чудовищем многобожия, дивные наития тех мудрецов, которым Бог доверил хранение первых слов, произнесенных им в присутствии творения, - найдут тогда столь же удивительное, как и неожиданное применение. И так как, вероятно, в странных видениях будущего, которых были удостоены некоторые избранные умы, увидят тогда главным образом выражение глубокого сознания безусловной связи между эпохами, то поймут, что на деле эти предсказания не относятся ни к какой определенной эпохе, но являются указаниями, безразлично касающимися всех времен; мало того, увидят, что достаточно, так сказать, взглянуть вокруг себя, чтобы заметить, что они беспрестанно осуществляются в последовательных фазисах общества, как ежедневное ослепительное проявление вечного закона, управляющего нравственным миром; так что факты, о которых говорят пророчества, будут для нас тогда столь же ощутительными, как и самые факты увлекающих нас событий**.

* Как Шлейермахер, Шеллинг, Кузен и др. (Прим. 11. Я. Чаадаева.)

** Тогда, например, люди уже не будут искать великий Вавилон; в том или другом земном государстве, как это делали еще недавно, но почувствуют, что сами живут среди грохота его разрушения, то есть они поймут, что вдохновенный историк будущих веков, рассказавший нам это ужасающее падение, имел в виду не крушение одной какой-либо державы, но крушение материального общества вообще, того общества, какое мы видим. (Прим. П. Я. Чаадаева).

Наконец, вот самый важный урок, который, по нашему мнению, преподала бы нам история, таким образом понятая; и в нашей системе этот урок, уясняя нам мировую жизнь разумного существа, которое одно дает ключ к решению человеческой загадки, резюмирует всю философию истории. Вместо того, чтобы тешиться бессмысленной системой механического совершенствования нашей природы, системой, так явно опровергнутой опытом всех веков, мы узнали бы, что предоставленный самому себе, человек всегда шел, напротив, лишь по пути беспредельного падения и что если время от времени у всех народов бывали эпохи прогресса, моменты просветления в мировой жизни человека, высокие порывы человеческого разума, дивные усилия человеческой природы - чего нельзя отрицать, - то, с другой стороны, ничто не свидетельствует о постоянном и непрерывном поступательном движении общества в целом и что на самом деле лишь в том обществе, которого мы члены, обществе, не созданном руками человеческими, можно заметить истинное восходящее движение, действительный принцип непрерывного развития и прочности. Мы без сомнения восприняли то, что ум древних открыл раньше нас, мы воспользовались этим знанием и сомкнули таким образом звенья великой цепи времен, порванной варварством; но отсюда вовсе не следует, что народы пришли бы к тому состоянию, в котором они находятся ныне, когда бы не великое историческое явление, стоящее

совершенно в стороне от всего предшествующего, вне всякой естественной преемственности человеческих идей в обществе и всякого необходимого сцепления вещей, - явление, которое отделяет древний мир от нового.

Если тогда, сударыня, взор мудрого человека обратится к прошлому, мир, каким он был в момент, когда сверхъестественная сила сообщила, ему новое направление, предстанет его воображению в своем истинном свете - развратный, лживый, обгаренный кровью. Он признает тогда, что тот самый прогресс народов и поколений, которым он так восхищался, в действительности, лишь привел их к несравненно большему огрубению, чем то, в каком находятся племена, которые мы называем дикими; и - что особенно ясно свидетельствует о несовершенстве цивилизаций древнего мира, - он без сомнения убедится, что в них не было никакого элемента прочности, долговечности. Глубокая мудрость Египта, чарующая прелесть Ионии, суровые добродетели Рима, ослепительный блеск Александрии, что сталось с вами? спросит он себя. Блестящие цивилизации, древностью равные миру, взлелеянные всеми силами земли, приобщенные ко всякой славе, ко всем величиям и всем земным владычествам, связанные, наконец, с обширнейшей властью, когда-либо тяготевшей над миром *, со всемирной империей, - каким образом могли вы обратиться в прах? К чему же вела вся эта вековая работа, все эти гордые усилия разумной природы, если новые народы, явившиеся Бог весть откуда и не принимавшие в них никакого участия, должны были со временем разрушить все это, ниспровергнуть великолепное здание и провести плуг по его развалинам? Так для того созидал человек, чтобы увидеть когда-нибудь все творение рук своих обращенным в прах? для того он накопил так много, чтобы все потерять в один день? для того поднялся так высоко, чтобы еще ниже упасть?

* Александр. Селевкиды, Марк Аврелий, Юлиан, Лагиды и т. д. (Прим. П. Я. Чаадаева.)

Но не заблуждайтесь, сударыня: не варвары разрушили древний мир. Это был истлевший труп; они лишь развеяли его прах по ветру. Разве эти самые варвары не нападали и раньше на древние общества, не будучи, однако, в силах хотя бы только поколебать их? Но истина в том, что жизненный принцип, поддерживавший дотоле человеческое общество, истощился; что материальный, или, если хотите, реальный интерес, которым одним до тех пор определялось социальное движение, так сказать, выполнил свою задачу, завершил предварительное образование рода человеческого; что человеческий дух, как бы он ни стремился выйти из своей земной среды, может лишь изредка подниматься в высшие сферы, где пребывает истинный принцип общественного бытия, и что, следовательно, он не в состоянии придать обществу его окончательную форму.

Мы слишком долго привыкли видеть в мире только отдельные государства; вот почему огромное превосходство нового общества над древним еще не оценено надлежащим образом. Упускали из виду, что в течение целого ряда веков это общество составляло настоящую федеральную систему, которая была расторгнута только реформацией; что до этого прискорбного события народы Европы смотрели на себя не иначе как на части единого социального тела, разделенного в географическом отношении на несколько государств, но в духовном отношении составляющего одно целое; что долгое время у них не было другого публичного права, кроме предписаний церкви; что войны в то время считались междоусобиями; что, наконец, весь этот мир был одушевлен одним исключительным интересом, движим одним стремлением. История средних веков - в буквальном смысле слова - история одного народа, - народа христианского. Главное содержание ее составляет развитие нравственной идеи; чисто политические события занимают в ней лишь второстепенное место; и это в особенности доказывается как раз теми войнами из-за идеи, к которым питала такое отвращение философия прошлого века. Вольтер

справедливо замечает, что только у христиан мнения бывали причиною войн; но не надо было останавливаться здесь,, надо было добраться до причины этого исключительного явления. Ясно, что царство мысли могло водвориться в мире не иначе как путем сообщения самому элементу мысли всей его реальности. И если теперь положение вещей с виду изменилось, то это является результатом раскола, который, нарушив единство мысли, уничтожил вместе с тем и единство социальное; но сущность вещей без всякого сомнения остается той же, что и прежде, и Европа все еще тождественна с христианством, что бы она ни делала и что бы ни говорила. Конечно, она не вернется больше к тому состоянию, в котором находилась в эпоху своей юности и роста, но нельзя также сомневаться, что наступит день, когда границы, разделяющие христианские народы, снова изгладятся, и первоначальный принцип нового общества еще раз проявится в новой форме и с большей силой, чем когда бы то ни было. Для христианина это предмет веры; ему так же не позволено сомневаться в этом будущем, как и в том прошлом, на котором основаны его верования; но для всякого серьезного ума это вещь доказанная. И даже, кто знает, не ближе ли этот день, чем можно было бы думать? Какая-то огромная религиозная работа совершается теперь в умах; в ходе науки, этой верховной владычицы нашего века, замечается какое-то поворотное движение; души настроены торжественно и сосредоточенно; как знать, не предвестники ли это каких-нибудь великих социальных явлений, долженствующих вызвать в разумной природе некое всеобщее движение, которое заменит достоверными доводами здравого смысла то, что теперь - только чаяния веры? слава Богу, реформация не все разрушила; слава Богу, общество было уже вполне построено для вечной жизни, когда бич поразил христианский мир.

Итак, истинный характер нового общества надо изучать не в той или другой отдельной стране, но во всем этом громадном обществе, составляющем европейскую семью; в нем находится истинный элемент устойчивости и прогресса, отличающий новый мир от мира древнего; в нем все великие светочи истории. Так, мы видим, что, несмотря на все перевороты, которые постигли новое общество, оно не только ничуть не утратило своей жизненности, но что с каждым днем его мощь возрастает, с каждым днем в нем рождаются новые силы. Так, мы видим, что арабы, татары и турки не только не могли его уничтожить, но, напротив, лишь способствовали его укреплению. Надо заметить, что первые два народа напали на Европу до изобретения пороха, что, следовательно, вовсе не огнестрельное оружие спасло ее от гибели и что нашествию одного из них в то же самое время подверглись оба уцелевшие до сих пор государства древнего мира *.

* Из зрелища, представляемого Индией и Китаем, можно почерпнуть важные назидания. Благодаря этим странам, мы являемся современниками мира, от которого вокруг нас остался только прах; на их судьбе мы можем узнать, что случилось бы с человечеством без того нового толчка, который был дан ему всемогущей рукою в другом месте.

Заметьте, что Китай с незапамятных времен обладал тремя великими орудиями, которые, как говорят, всего более ускорили у нас прогресс человеческого ума: компасом, книгопечатанием и порохом. Между тем к чему они послужили ему? Совершили ли китайцы кругосветное путешествие? открыли ли они новую часть света? обладают ли они более обширной литературой, чем какую обладали мы до изобретения книгопечатания? В пагубном искусстве убивать были ли у них, как у нас, свои Фридрихи и Бонапарты? Что касается Индостана, то жалкая доля, на которую обрекли его сначала татарское, потом английское завоевания, ясно обнаруживает, как мне кажется, то бессилие и ту мертвенность, какие присущи всякому обществу, не основанному на истине, непосредственно исходящей от высшего разума. Я лично думаю, что такое необыкновенное уничтожение народа, являющегося носителем древнейшего естественного просвещения и зачатком всех человеческих знаний,

заклучает в себе, сверх того, еще какой-то особый урок. Не вправе ли мы видеть здесь приложение к коллективному уму народов того закона, действие которого мы ежедневно наблюдаем на отдельных лицах, именно что ум, по какой бы то ни было причине ничего не заимствовавший из массы распространенных среди человечества идей и не подчинившийся действию общего закона, но обособившийся от человеческой семьи и совершенно замкнувшийся в самом себе, неизбежно приходит тем в больший упадок, чем своевольнее была его собственная деятельность? В самом деле, была ли когда-либо какая другая нация доведена до такого жалкого состояния, чтобы стать добычей не другого народа, но нескольких торговцев, которые в своей родной стране сами являются подданными, здесь же неограниченными властителями? Притом, помимо этого неслыханного уничтожения индусов, явившегося следствием их покорения, самый упадок индусского общества начался, как известно, гораздо раньше. Его литература и философия и самый язык, на котором они изложены, относятся к давно уже исчезнувшему порядку вещей. (Прим. П. Я. Чаадаева).

Падение Римской империи обыкновенно приписывают порче нравов и проистекшему отсюда деспотизму. Но этот мировой переворот касался не одного Рима: не Рим погиб тогда, но вся цивилизация. Египет времен фараонов, Греция эпохи Перикла, второй Египет Лагидов и вся Греция Александра, простиравшаяся дальше Инда, наконец, самый иудаизм, с тех пор как он эллинизировался, - все они смешались в римской массе и слились в одно общество, которое представляло собою все предшествовавшие поколения от самого начала вещей и которое заключало в себе все нравственные и умственные силы, развившиеся до тех пор в человеческой природе. Таким образом, не одна империя пала тогда, но все человеческое общество уничтожилось и снова возродилось в этот день. Теперь когда Европа как бы охватила собою земной шар, когда Бювый Свет, поднявшийся из океана, пересоздан ею, когда все остальные человеческие племена до такой степени подчинились ей, что существуют лишь как бы с ее соизволения, - не трудно понять, что происходило на земле в то время, когда рушилось старое здание и на его месте чудесным образом воздвигалось новое: здесь получал новый закон, новую организацию духовный элемент природы. Материалы древнего мира, конечно, пошли в дело при созидании нового общества, так как высший разум не может уничтожать творение собственных рук, и материальная основа нравственного порядка необходимо должна была остаться той же; другие же человеческие материалы, совсем новые, из залежи, не тронутой древней цивилизацией, были доставлены Провидением. Мощный и сосредоточенный ум северных народов сочетался с пылким духом Юга и Востока; казалось, все разлитые по земле духовные силы проявились и соединились в этот день, чтобы дать жизнь поколениям идей, элементы которых были до тех пор погребены в самых таинственных глубинах человеческого сердца. Но ни план здания, ни цемент, скрепивший эти разнородные материалы, не были делом рук человеческих: все сделала идея истины. Вот что необходимо понять, и вот тот величайшей важности факт, которого чисто историческое мышление, даже пользуясь всеми орудиями человеческой мысли, известными нашей эпохе, никогда не в состоянии будет выяснить настолько, чтобы удовлетворить ум. Вот та ось, вокруг которой вращается вся историческая сфера, и чем вполне объясняется весь факт воспитания человеческого рода. Конечно, уже одно величие события и его тесная, необходимая связь со всем, что ему предшествовало и за ним следовало, сами по себе ставят его вне обычного течения человеческих дел, которые никогда не бывают свободны от известного произвола, от некоторой прихотливости; но непосредственное воздействие атого события на ум человеческий, новые силы, которыми оно его сразу обогатило, новые потребности, которые оно сразу вызвало в нем, и в особенности это чудесное уравнение умов,

совершенное тем, благодаря кому человек стал во всяком положении жаждать истины и быть способным к ее познанию, - вот что налагает на этот исторический момент поразительную печать Промысла и высшего разума.

И вот взгляните: как часто человеческая мысль ни возвращалась с тех пор к вещам, которые более не существуют, не могут и не должны существовать, - в основе она всегда крепко держалась за этот момент. Взгляните: разве сознание верховного разума не вошло целиком в новый нравственный порядок и разве эта часть мирового ума, увлекающая за собой остальную его массу, не возникла в самом деле в первый день нашей эры? Не знаю, может быть, черта, отделяющая нас от древнего мира, видна не всем взорам, но она, конечно, ощутительна для всякого ума, наученного нравственным чувством сколько-нибудь понимать то, что разделяет элементы разумной природы, и то, что их соединяет. Поверьте мне, наступит время, когда своего рода возврат к язычеству, происшедший в пятнадцатом веке и очень неправильно названный возрождением наук, будет возбуждать в новых народах лишь такое воспоминание, какое сохраняет человек, вернувшийся на путь добра, о каком-нибудь сумасбродном и преступном увлечении своей юности.

Заметьте притом, что, благодаря особого рода оптическому обману, древность представляется нам в виде бесконечного ряда веков, между тем как новый период кажется начавшимся чуть ли не со вчерашнего дня. На самом же деле история древнего мира, считая хотя бы от водворения Пелазгов в Греции, охватывает период времени, не более как на одно столетие превышающий продолжительность нашей эры, а собственно исторический период и того короче. И вот за такой-то короткий промежуток времени сколько государств погибло в древнем мире, между тем как в истории новых народов вы видите лишь всевозможные перемещения географических границ, самое же общество и отдельные народы остаются нетронутыми! Мне нет надобности говорить вам, что такие факты, как изгнание мавров из Испании, истребление американских племен и уничтожение власти татар в России только подтверждают наше рассуждение. Точно так же и падение Оттоманской империи, например, отголоски которого уже долетают до нашего слуха, снова представит зрелище одной из тех страшных катастроф, которые христианским народам никогда не суждено испытать; затем наступит черед других нехристианских народов, живущих у самых отдаленных пределов нашей системы. Таков круг всемогущего действия истины: отталкивая одни народности, другие принимая в свою окружность, он беспрестанно расширяется, приближая нас к возвещенным временам.

Надо сознаться, удивительно равнодушие, с которым долго относились к новейшей цивилизации *. Вы видите, однако, что понять ее правильно - значит вместе с тем решить весь социальный вопрос. Вот почему философия истории в самых широких и в самых общих своих рассуждениях волей-неволей принуждена возвращаться к этой цивилизации. В самом деле, не содержит ли она в себе плод всех истекших веков и грядущие века будут ли чем иным, как плодом этой цивилизации? Дело в том, что нравственное существо всецело создано временем, и время же должно завершить выработку его. Никогда масса распространенных в мире идей не была так сконцентрирована, как в современном обществе; никогда за все время существования человека вся деятельность его природы не была до такой степени поглощена одной идеей, как в наши дни. Прежде всего, мы безусловно унаследовали, все, что когда-либо было сказано или сделано людьми; далее, нет ни одного места, куда бы не простиралось влияние наших идей; наконец, во всем мире существует теперь лишь одна умственная власть? таким образом, все основные вопросы нравственной философии по необходимости заключены в едином вопросе о новейшей цивилизации. Но люди думают, что раз они произнесли свои громкие слова о способности человека к совершенствованию, о прогрессе человеческого

ума, - этим все сказано, все объяснено: как будто человек искони неустанно шел вперед, никогда не останавливаясь, никогда не возвращаясь вспять, как будто в ходе развития разумной природы никогда не было ни задержек, ни отступлений, а всегда только совершенствование и прогресс. Если бы дело обстояло так, то почему народы, о которых я вам только что говорил, остаются неподвижными с тех пор, как мы их знаем? Почему азиатские нации впали в косность? Чтобы достигнуть состояния, в котором они находятся теперь, им ведь надо было в свое время, подобно нам, искать, изобретать, открывать. Почему же, дойдя до известной ступени, они на ней остановились и с тех пор не могли придумать ничего нового?*

Ответ простой: дело в том, что прогресс человеческой природы вовсе не безграничен, как это обыкновенно воображают; для него существует предел, за который он никогда не переходит. Вот почему цивилизации древнего мира не всегда шли вперед; вот почему Египет со времени посещения его Геродотом вплоть до эпохи греческого владычества не сделал больше никаких успехов; вот почему прекрасный и блестящий римский мир, сосредоточивший в себе всю образованность, какая существовала тогда на пространстве от столбов Геркулеса до берегов Ганга, в момент, когда новая идея озарила человеческий ум, пришел в то состояние неподвижности, которым неизбежно завершается всякий чисто человеческий прогресс. Стоит только, отбросив классические суеверия, поразмыслить об этом моменте, столь богатом последствиями, - и станет ясно, что, кроме отличавшей эту эпоху крайней развращенности нравов, кроме утраты всякого понятия о добродетели, свободе, любви к родине, кроме настоящего упадка в некоторых областях человеческого знания, здесь наблюдался также полнейший застой во всех остальных, и умы дошли до такого состояния, что могли вращаться только в определенном тесном кругу, за пределами которого они неизбежно впадали в тупую беспорядочность. Дело в том, что, как только материальный интерес удовлетворен, человек больше не прогрессирует: хорошо еще, если он не идет назад! Не будем заблуждаться: в Греции, как и в Индостане, в Риме, как и в Японии, вся умственная работа, какой бы силы ни достигала она в прошлом и в настоящем, всегда вела и теперь ведет лишь к одной и той же цели; поэзия, философия, искусство, все это, как прежде, так и теперь, всегда преследует там только удовлетворение физического существа. Все, что есть самого возвышенного в учениях и умственных привычках Востока, не только не противоречит этому общему факту, но, напротив, подтверждает его, так как кто же не видит, что беспорядочный разгул мысли, который мы там встречаем, объясняется не чем иным, как иллюзиями и самообольщением материального существа в человеке? Не надо думать, однако, что этот земной интерес, являющийся исконным двигателем всей человеческой деятельности, ограничивается одними чувственными вожделениями; он просто выражает общую потребность в благополучии, которая проявляется всевозможными способами и в самых разнообразных формах, в зависимости от большей или меньшей степени развития общества и от разных местных причин, но никогда не подымается до уровня чисто духовных потребностей. Только христианское общество поистине одушевлено духовными интересами, и именно этим обусловлена способность новых народов к совершенствованию, именно здесь вся тайна их культуры. Как бы ни проявлялся у них тот другой интерес, вы видите, что он всегда подчинен этой могучей силе, которая овладевает всеми способностями души, заставляет служить себе все силы разума и чувства и направляет все в человеке на выполнение его предназначения.

* Когда говорят о какой-нибудь культурной нации, что она находится в застое, то надо прибавить, с каких пор она пришла в это состояние, иначе эта фраза совсем не имеет смысла. (Прим. II. Я Чаадаева).

Этот интерес, конечно, никогда не может быть удовлетворен; он беспределен по

самой своей природе. Таким образом христианские народы в силу необходимости постоянно идут вперед. При этом хотя цель, к которой они стремятся, не имеет ничего общего с тем другим благополучием, на которое одно только и могут рассчитывать нехристианские народы, но они попутно находят его и пользуются им. Утехи жизни, которых единственно ищут другие народы, достаются также на их долю, согласно слову Спасителя: "Ищите же прежде всего Царства Божия и правды его, и все остальное приложится к вам". Таким образом, огромный размах, который сообщает всем умственным силам этих народов идея, владеющая ими, в изобилии обеспечивает им все телесные блага, так же как и духовные. Нельзя, впрочем, и сомневаться в том, что нас никогда не постигнет ни китайский застой, ни греческий упадок; еще менее можно себе представить полное уничтожение нашей цивилизации. Чтобы убедиться в этом, достаточно бросить взгляд кругом. Весь мир должен был бы перевернуться, новый переворот, подобный тому, который придал ему его теперешнюю форму, должен бы произойти для того, чтобы современная цивилизация погибла. Без вторичного всемирного потопа невозможно вообразить себе полную гибель нашего просвещения. Пусть даже, например, погрузится в море целое полушарие, - того, что уцелеет от нашей цивилизации на другом полушарии, будет достаточно, чтобы возродить человеческий дух. Нет, идея, которая должна завоевать вселенную, никогда не замрет и не погибнет, если только не будет ей так определено свыше особою волею того, кто вложил ее в человеческую душу. Этот философский вывод из размышлений об истории, как мне кажется, более положителен, более очевиден и более назидателен, чем все те заключения, которые банальная история по-своему выводит из картины веков, ссылаясь на влияние почвы, климата, расы и т. д., и в особенности на теорию необходимого совершенствования.

Надо сознаться, однако, что если до сих пор влияние христианства на общество, на развитие человеческого ума и на современную цивилизацию еще не оценено достаточно, то это в значительной степени вина протестантов. Вы знаете, что во всех пятнадцати веках, предшествовавших реформации, или по крайней мере во всем периоде с тех пор, как первоначальное христианство, по их мнению, исчезло, - они видят только папизм; поэтому их нисколько не интересует проследить ход развития христианства в продолжение средних веков; для них эта эпоха - пробел в истории: как же им понять воспитание новых народов? Ничто так не способствовало искажению картины новой истории, как предрассудки протестантизма. Это он так усердно преувеличивал важность возрождения наук, которого, собственно говоря, никогда не было, так как наука никогда не погибала совершенно; это он придумал множество разных причин прогресса, которые, в сущности, влияли лишь очень второстепенным образом или проистекали всецело из главной причины. К счастью, менее пристрастная философия, исходящая из более высоких взглядов, в наши дни, обратившись к прошлому, исправила наши понятия об этом интересном периоде. Благодаря ей сразу открылось столько нового, что самое упорное недоброжелательство не может устоять перед этими достоверными фактами, и, я думаю, мы имеем право сказать, что если вразумление людей этим путем входит в планы Провидения, то недалек тот момент, когда яркий свет разгонит тьму, еще отчасти покрывающую прошлое нового общества *.

* С тех пор, как эти строки были написаны, г. Гизо в значительной степени оправдал нашу надежду. (Прим. П. Я. Чаадаева).

Мы не можем не вернуться еще раз к упорству, с которым протестанты утверждают, что христианство перестало существовать начиная со второго или, в лучшем случае, с третьего века. Если верить им, то в этот период от него уцелело лишь ровно столько, сколько нужно было, чтобы оно не погибло окончательно. Суеверие и невежество этих одиннадцати веков кажутся им столь беспросветными,

что во всей этой эпохе они не видят ничего, кроме идолопоклонства еще более ужасного, чем у языческих народов. По их мнению, не будь вальденцев, нить священного предания совершенно оборвалась бы, а не явись еще несколько дней Лютер, - религия Христа перестала бы существовать. Но, спрашиваю вас, можно ли признать печать божественности на таком учении, лишенном силы, долговечности и жизни, каким они выставляют христианство, учении преходящем и лживом, которое вместо того, чтобы возродить род человеческий и влить в него новую жизнь, как оно обещало, - лишь на мгновение появилось на земле, чтобы затем угаснуть, возникло лишь для того, чтобы сейчас же исчезнуть или чтобы стать орудием человеческих страстей? Итак, судьба Церкви зависела лишь от желания Льва X достроить базилику св. Петра? и если бы он не велел с этой целью продавать индульгенции в Германии, то в наше время уже почти не оставалось бы следов христианства? Не знаю, может ли что-нибудь яснее показать коренное заблуждение реформации, чем этот узкий и мелочный взгляд на откровенную религию. Не значит ли это противоречить собственным словам Иисуса Христа и всей идее его религии? Если слово его не должно прейти, доколе не прейдут небо и земля, и сам он всегда среди нас, то каким образом храм, воздвигнутый его руками, мог быть близок к падению? И как мог бы он столь долгое время оставаться пустым, точно покинутый дом, готовый рухнуть?

Надо, однако, сознаться, - они были последовательны. Если они сначала разожгли пожар в целой Европе, а затем разрушили связи, объединявшие все христианские народы в одну семью, то они сделали это потому, что христианство было на краю гибели. В самом деле, разве не надо было всем пожертвовать, лишь бы спасти его? Но вот в чем дело: ничто лучше не доказывает божественность нашей религии, чем ее постоянное действие на человеческий ум, - действие, которое, хотя и изменялось смотря по времени, хотя и сочеталось с различными потребностями народов и веков, но никогда не ослабевало, не говоря уже о том, чтобы вовсе прекратиться. Это зрелище ее державной мощи, непрестанно действующей среди бесконечных препятствий, создаваемых и порочностью нашей природы, и пагубным наследием язычества, - вот что более всего удовлетворяет в ней разум.

Что же означает утверждение, будто католическая Церковь выродилась из первоначальной Церкви? Разве, начиная с третьего века, отцы Церкви не сокрушались об испорченности христиан? И разве не повторялись те же жалобы постоянно, в каждом веке, на каждом соборе? Разве истинное благочестие не возвышало постоянно свой голос против злоупотреблений и пороков духовенства, а когда бывал к тому повод, и против захватов со стороны духовной власти? Что может быть прекраснее тех ярких лучей света, которые время от времени загорались в глубине темной ночи, окутывавшей мир? Иногда это были примеры самых возвышенных добродетелей, иногда - случаи чудесного действия веры на дух народов и отдельных людей; Церковь собирала все это и создавала из этого свою силу и свое богатство: так сооружался вечный храм тем способом, который лучше всего мог придать ему надлежащую форму. Первоначальная чистота христианства естественно не могла сохраняться всегда; оно должно было принять все отпечатки, какие только могла наложить на него свобода человеческого разума *. Сверх того, совершенство апостольской Церкви обуславливалось малочисленностью христианской общины, затерянной среди огромной общины языческой; следовательно, оно не может быть присуще всемирному человеческому обществу. Золотой век Церкви, как известно, был веком ее величайших страданий, - веком, когда еще совершалось мученичество, которое должно было лечь в основу нового порядка, когда еще лилась кровь Спасителя; нелепо мечтать о возвращении такого порядка вещей, который был порожден лишь безмерными несчастьями, сокрушавшими первых христиан.

Хотите ли знать теперь, что сделала эта реформация, хвалящаяся тем, будто она вновь обрела христианство? Вы видите, - это один из важнейших вопросов, какие только может задать себе история. Реформация снова повергла мир в языческую разьединенность; она восстановила те огромные нравственные индивидуальности, ту обособленность умов и душ, которую Спаситель приходил разрушить. Если она ускорила развитие человеческого духа, то, с другой стороны, она вытравила из сознания разумного существа плодотворную и высокую идею всеобщности. Сущностью всякого раскола в христианском мире является нарушение того таинственного единства, в котором заключается вся божественная идея и вся сила христианства. Вот почему католическая церковь никогда не примирится с отпавшими от нее общинами. Горе ей и горе христианству, если факт разделения когда-либо будет признан законною властью, ибо тогда все скоро сызнова превратилось бы в хаос человеческих идей, все стало бы ложью, тленом и прахом. Истина должна быть видимо, так сказать, осязательно закреплена, чтобы царство духа могло устоять на земле; только осуществляясь в формах, свойственных человеческой природе, господство идеи становится прочным и долговечным. И затем, во что обратится таинство причастия, это дивное изобретение христианской мысли, которое - если можно так выразиться - материализует души, чтобы лучше соединить их, - во что обратится оно, если видимое единение будет отвергнуто, если люди будут довольствоваться внутренней общностью мнений, лишенной внешней реальности? Что пользы людям в единении со Спасителем, если они разъединены между собою? Если силы любви и единения, которую заключает в себе великое таинство, не познали свирепый Кальвин, убийца Сервета, буйный Цвингли и тиран Генрих VIII с его лицемерным Кранмером, - я этому не удивляюсь; но непостижимо то, каким образом некоторые глубокие и истинно религиозные умы лютеранской церкви, в которой это искажение Евхаристии не возведено в догмат, да и ревностно оспаривалось ее основателем, - как эти умы могли так странно ошибаться относительно духа этого таинства и слепо подчиняться мертвенной идее кальвинизма. Нельзя не признать, что все протестантские церкви отличаются какой-то непонятной страстью к разрушению; они как бы неудержимо стремятся к самоуничтожению, как бы нарочно отвергают все то, что могло бы сделать их слишком долговечными. Этому ли учит нас тот, кто явился принести на землю жизнь и победил смерть? Разве мы уже на небе, чтобы безнаказанно отбрасывать условия существующего порядка вещей? И что такое этот порядок вещей, как не сочетание самых чистых помыслов разумного существа с потребностями его существования? Первая же из этих потребностей - общество, соприкосновение умов, слияние идей и чувств. Лишь удовлетворяя этому условию, истина становится живой и из области умозрения спускается в область реального; лишь тогда идея делается фактом, получает, наконец, характер силы природы и действие ее становится таким же верным, как действие всякой другой естественной силы. Но как может все это произойти в идеальном обществе, существующем лишь в области желаний и воображения? Вот что представляет собою невидимая Церковь протестантов; она действительно невидима, как все несуществующее.

Днем соединения всех христианских исповеданий будет тот день, когда отделившиеся Церкви с полным смирением, в глубоком раскаянии и самоуничтожении признают, что, отпав от церкви-матери, они далеко оттолкнули от себя исполнение атой молитвы Спасителя: "Отче святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы".

Допустим даже, что папство - человеческое учреждение, каким его хотели бы представить, - если только явление таких размеров может быть делом рук человеческих, - но оно существенным образом вытекает из самого духа христианства: это - видимый знак единства, а вместе с тем - ввиду происшедшего

разделения - и символ воссоединения. На атом основании как не признать за ним верховной власти над всеми христианскими обществами? И кто не изумится его необыкновенным судьбам? Несмотря на все испытанные им превратности и невзгоды, несмотря на его собственные ошибки, несмотря на все нападки неверия и даже его торжество, оно стоит непоколебимо и тверже, чем когда-либо! Лишившись своего человеческого блеска, оно стало от этого только сильнее, а равнодушие, которое проявляют к нему теперь, лишь укрепляет его еще более и лучше обеспечивает ему долговечность. Некогда его поддерживало почитание христианского мира, особый инстинкт, в силу которого народы видели в нем оплот своего земного благополучия, как и залог вечного спасения; теперь оно держится своим смиренным положением среди земных держав. Но, как и прежде, оно в совершенстве выполняет свое назначение: оно централизует христианские идеи, сблизает их между собою, напоминает даже тем, кто отверг идею единства, об этом высшем принципе их веры, - и всегда, в силу этого своего божественного призвания, величаво парит над миром материальных интересов. Как бы мало внимания ни уделяли ему с виду в настоящее время, но пусть случилось бы невозможное и папство исчезло бы с лица земли, вы увидите, в какое смятение придут все религиозные общины, когда этот живой памятник истории великой общины не будет стоять перед их глазами. Они повсюду будут искать его тогда, это видимое единство, которым они так мало дорожат теперь, но его нигде не окажется. И не подлежит сомнению, что драгоценное сознание своей великой будущности, наполняющее теперь христианский разум и сообщающее ему ту особую высшую жизнь, которая отличает его от обыденного разума, неизбежно изгладится тогда, подобно надеждам, основанным на воспоминании о деятельном существовании: эти надежды утрачиваются с той минуты, как вся деятельность оказывается бесплодной, и самая память прошлого ускользает от нас тогда, став ненужной.

Письмо седьмое

Сударыня,

Чем более вы будете размышлять о том, что я говорил вам наперед, тем более вы убедитесь, что все это уже сотни раз было высказано людьми всевозможных партий и мнений и что мы только вносим в этот предмет особый интерес, которого до сих пор в нем не находили. Однако я не сомневаюсь в том, что если бы этим письмам случайно привелось увидеть свет, их обвинили бы в парадоксальности. Когда с известной степенью убежденности настаиваешь даже на самых обыкновенных понятиях, их всегда принимают за какие-то необычайные новшества. Что касается меня, то, на мой взгляд, время парадоксов и систем, лишенных реального основания, миновало настолько безвозвратно, что теперь было бы прямо глупостью впадать в эти былые причуды человеческого ума. Несомненно, что если человеческий ум в настоящее время и не так обширен, возвышен и плодovit, как в великие эпохи вдохновения и изобретения, то, с другой стороны, он стал бесконечно более строгим, трезвым, непреклонным и методичным, словом, более точным, чем когда бы то ни было прежде. И я прибавлю с чувством истинного удовлетворения, что с некоторого времени он стал также более безличным, чем когда-либо, что служит самой верной гарантией против безрассудности отдельных мнений.

Если, размышляя о воспоминаниях человечества, мы пришли к некоторым оригинальным взглядам, несогласным с предрассудками, то это потому, что, на наш взгляд, пора откровенно определить свое отношение к истории, как это было сделано в прошлом веке относительно естественных наук, то есть познать ее во всем ее рациональном идеализме, как естественные науки были познаны во всей их

эмпирической реальности. Так как предмет истории и способы ее изучения - всегда одни и те же, то ясно, что круг исторического опыта должен когда-нибудь замкнуться; применения никогда не будут исчерпаны, но к установленному однажды правилу больше нечего будет прибавить. В физических науках каждое новое открытие дает новое поприще уму и открывает новое поле наблюдению; чтобы не идти далеко, вспомним, что один только микроскоп познакомил нас с целым миром, о котором ничего не знали древние естествоиспытатели. Таким образом, в изучении природы прогресс по необходимости беспределен; в истории же всегда познается только человек, и для познания его нам всегда служит одно и то же орудие. Поэтому, если в истории действительно сокрыто важное поучение, то когда-нибудь люди должны прийти в ней к чему-нибудь определенному, что раз навсегда завершило бы опыт, то есть к чему-нибудь вполне рациональному. Прекрасная мысль Паскаля, которую я, кажется, уже приводил вам однажды, та мысль, что весь последовательный ряд людей есть не что иное, как один человек, пребывающий вечно, должна со временем из фигурального выражения отвлеченной истины стать реальным фактом человеческого ума, который с этих пор будет, так сказать, вынужден для каждого дальнейшего шага потрясать всю огромную цепь человеческих идей, простирающуюся через все века.

Но, спрашивается, может ли человек когда-нибудь, вместо того вполне индивидуального и обособленного сознания, которое он находит в себе теперь, усвоить себе такое всеобщее сознание, в силу которого он постоянно чувствовал бы себя частью великого духовного целого? Да, без сомнения, может. Подумайте только: наряду с чувством нашей личной индивидуальности мы носим в сердце своем ощущение нашей связи с отечеством, семьей и идейной средой, членами которых мы являемся; часто даже это последнее чувство живее первого. Зародыш высшего сознания живет в нас самым явственным образом; он составляет сущность нашей природы; наше нынешнее я совсем не предопределено нам каким-либо неизбежным законом: мы сами вложили его себе в душу. Люди увидят, что человек не имеет в этом мире иного назначения, как эта работа уничтожения своего личного бытия и замены его бытием вполне социальным или безличным. Вы видели, что это составляет единственную основу нравственной философии*; вы видите теперь, что на этом же должно основываться и историческое мышление, и вы увидите далее, что с этой точки зрения все заблуждения, которые затемняют и искажают различные эпохи общей жизни человечества, должны быть рассматриваемы не с холодным научным интересом, но с глубоким чувством нравственной правды. Как отождествлять себя с чем-то, что никогда не существовало? Как связать себя с небытием? Только в истине проявляются притягательные силы той и другой природы. Для того, чтобы подняться на эти высоты, мы должны при изучении истории усвоить себе правило - никогда не мириться ни с грезами воображения, ни с привычками памяти, но с таким же рвением преследовать положительное и достоверное, с каким до сих пор люди всегда искали живописного и занимательного. Наша задача не в том, чтобы наполнить свою память фактами; что пользы в них? Ошибочно думать, будто масса фактов непременно приносит с собою достоверность. Как и вообще гадательность исторического понимания обуславливается не недостатком фактов, точно так же и незнание истории объясняется не незнакомством с фактами, но недостатком размышления и неправильностью суждения. Если бы в этой научной области желали достигнуть достоверности или прийти к положительному знанию с помощью одних только фактов, то кто же не понял бы, что их никогда не наберется достаточно? Часто одна черта, удачно схваченная, проливает больше света и больше доказывает, чем целая хроника.

*См. другое письмо. (Прим. II. Я. Чаадаева.)

Итак, вот наше правило: будем размышлять о фактах, которые нам известны, и

постараемся держать в уме больше живых образов, чем мертвого материала. Пусть другие роются, сколько хотят, в старой пыли истории; что касается нас, то мы ставим себе иную задачу. Таким образом, исторический материал мы во всякое время считаем полным; но к исторической логике мы всегда будем питать недоверие; ее мы постоянно должны будем осмотрительно проверять. Если в потоке времен мы, наравне с другими, будем видеть только деятельность человеческого разума и проявления совершенно свободной воли, то сколько бы мы ни нагромождали фактов в нашем уме и с каким бы тонким искусством ни выводили их одни из других, мы не найдем в истории того, что ищем. В этом случае она всегда будет представляться нам той самой человеческой игрой, какую люди видели в ней во все времена*. Она останется для нас по-прежнему той динамической и психологической историей, о которой я вам говорил недавно, которая стремится все объяснять личностью и воображаемым сцеплением причин и следствий, человеческими фантазиями и мнимо-неизбежными следствиями этих фантазий и которая таким образом предоставляет человеческий разум его собственному закону, не постигая того, что именно в силу бесконечного превосходства этой части природы над всей остальной, действие высшего закона необходимо должно быть здесь еще более очевидным, чем там**.

* Ни Геродота, ни Тита Ливия, ни Григория Турского нельзя упрекать за то, что они заставляли Провидение вмешиваться во все человеческие дела; но надо ли говорить, что не к этой суеверной идее повседневно вмешательства Бога хотели бы мы снова привести человеческий ум? (Прим. П. Я. Чаадаева).

** В том самом Риме, о котором столько говорят, где все бывали и который все-таки очень мало понимают, есть удивительный памятник, о котором можно сказать, что это - событие древности, дрящущее донине, факт другой эпохи, остановившийся среди течения времен: это Колизей. По моему мнению, в истории нет ни одного факта, который внушал бы столько глубоких идей, как зрелище этой руины, который отчетливее обрисовывал бы характер двух эпох в жизни человечества и лучше бы доказывал ту великую историческую аксиому, что до появления христианства в обществе никогда не было ни истинного прогресса, ни настоящей устойчивости. В самом деле, эта арена, куда римский народ стекался толпами, чтобы упиться кровью, где весь языческий мир так верно отражался в ужасной забаве, где вся жизнь той эпохи раскрывалась в самых упоительных своих наслаждениях, в самом ярком своем блеске, не стоит ли она перед нами, чтобы рассказать нам, к чему пришел мир в тот момент, когда все силы человеческой природы уже были употреблены на постройку социального здания, когда уже со всех сторон все предвещало его падение и готов был начаться новый век варварства? И там же впервые задымилась кровь, которая должна была оросить фундамент нового здания. Не стоит ли поэтому один этот памятник целой книги? Но, странное дело! ни разу он не внушил ни одной исторической мысли, полной тех великих истин, которые он в себе заключает! Среди полчищ путешественников, стекающихся в Рим, нашелся, правда, один, который стоял на соседнем знаменитом холме, откуда он свободно мог созерцать удивительные очертания Колизея, казалось, видел, по его словам, как развертывались перед ним века и объясняли ему загадку своего движения. И что же? он видел одних только триумфаторов и капуцинов. Как будто там никогда не происходило ничего другого, кроме победных шествий и религиозных процессий! Узкий и мелочный взгляд, которому мы обязаны известным всему миру лживым произведением! настоящее поругание одного из прекраснейших исторических гениев, когда-либо существовавших! (Прим. П. Я. Чаадаева).

Чтобы не остаться голословным, я приведу вам, сударыня, один из самых разительных примеров ложности некоторых ходячих исторических воззрений. Вы знаете, что искусство сделалось одной из величайших идей человеческого ума

благодаря грекам. Посмотрим же, в чем состоит это великолепное создание их гения. Все, что есть материального в человеке, было идеализировано, возвеличено, обожествлено; естественный и законный порядок был извращен; то, что по своему происхождению должно было занимать низшую сферу духовного бытия, было возведено на уровень высших помыслов человека; действие чувств на ум было усилено до бесконечности, и великая разграничительная черта, отделяющая в разуме божественное от человеческого, была нарушена. Отсюда хаотическое смешение всех нравственных элементов. Ум устремился на предметы, наименее достойные его внимания, с такой же страстью, как и на те, познать которые для него всего важнее. Все области мышления сделались равно привлекательными. Вместо первобытной поэзии разума и правды, чувственная и лживая поэзия проникла в воображение, и эта мощная способность, созданная для того, чтобы мы могли представлять себе лишенное образа и созерцать незримое, стала с тех пор служить лишь для того, чтобы делать осязаемое еще более осязательным и земное еще более земным; в результате наше физическое существо выросло настолько же, насколько наше нравственное существо умалилось. И хотя мудрецы, как Пифагор и Платон, боролись с этой пагубной склонностью духа своего времени, будучи сами более или менее заражены им, но их усилия не привели ни к чему, и лишь после того, как человеческий дух был обновлен христианством, их доктрины приобрели действительное влияние. Итак, вот что сделало искусство греков; оно было апофеозом материи, - этого нельзя отрицать. Что же, так ли был понят этот факт? Далеко нет. На дошедшие до нас памятники этого искусства смотрят - не понимая их значения; услаждают себя зрелищем этих дивных вдохновений гения, которого, к счастью, более нет на земле, - даже не подозревая нечистых чувств, рождающихся при этом в сердце, и лживых помыслов, возникающих в уме; это какое-то поклонение, опьянение, очарование, в котором нравственное чувство гибнет без остатка. Между тем достаточно") было бы хладнокровно отдать себе отчет в том чувстве, которым бываешь полон, когда предаешься этому нелепому восхищению, чтобы понять, что это чувство вызывается самой низменной стороной нашей природы, что мы постигаем эти мраморные и бронзовые тела, так сказать, нашим телом. За-мечьте притом, что вся красота, все совершенство этих фигур происходят исключительно от полнейшей тупости, которую они выражают: стоило бы только проблеску разума проявиться в их чертах, и пленяющий нас идеал мгновенно исчез бы. Следовательно, мы созерцаем даже не образ разумного существа, но какое-то человекоподобное животное, существо вымышленное, своего рода чудовище, порожденное самым необузданным разгулом ума, - чудовище, изображение которого не только не должно было бы доставлять нам удовольствие, но скорее должно было бы нас отталкивать. Итак, вот каким образом самые важные факты исторической философии искажены или затемнены предрассудком, - теми школьными привычками, той рутиной мысли и той прелестью обманчивых иллюзий, которыми и обуславливаются обыденные исторические воззрения.

Вы спросите меня, может быть, всегда ли я сам был чужд этим обольщениям искусства? Нет, сударыня, напротив. Прежде даже, чем я их познал, какой-то неведомый инстинкт заставлял меня предчувствовать их, как сладостные очарования, которые должны наполнить мою жизнь. Когда же одно из великих событий нашего века привело меня в столицу, где завоевание собрало в короткое время так много чудес, - со мной было то же, что с другими, и я даже с большим благоговением бросал мой фимиам на алтари кумиров. Потом, когда я во второй раз увидел их при свете их родного солнца, я снова наслаждался ими с упоением. Но надо сказать правду, - на дне этого наслаждения всегда оставалось что-то горькое, подобное угрызению совести; поэтому, когда понятие об истине озарило меня, я не противился ни одному из выводов, которые из него вытекали, но принял их все

тотчас же без уверток.

Вернемся, однако, сударыня, к тем крупным историческим личностям, которым, как я вам говорил наперед, история, по моему мнению, не отводит подобающих им мест в воспоминаниях человечества. У вас должно было получиться лишь неполное представление об этом предмете. Начнем с Моисея, самой гигантской и величавой из всех исторических фигур.

Слава Богу, прошло уже то время, когда великий законодатель еврейского народа был даже в глазах людей, претендующих на глубокомыслие, не более как существом какого-то фантастического мира, подобно всем этим героям, полубогам и пророкам, каких мы встречаем на первых страницах истории всякого древнего народа, - не более как поэтическим образом, в котором историческая мысль должна открыть лишь то, что он представляет поучительного как тип, символ или выражение эпохи, к которой его относит человеческая традиция. В настоящее время нет никого, кто бы сомневался в исторической реальности Моисея. Но тем не менее несомненно, что священная атмосфера, окружающая его имя, вовсе не благоприятна для него, так как она мешает ему занять подобающее ему место. Влияние, оказанное этим великим человеком на род человеческий, далеко еще не понято и не оценено надлежащим образом. Облик его слишком затуманен таинственным светом, который его окружает. Благодаря тому, что его недостаточно изучали, Моисей не представляет того назидания, какое обыкновенно дает нам созерцание великих исторических личностей. Ни общественный человек, ни частное лицо, ни мыслитель, ни деятель не находят в истории его жизни всего поучения, которое в ней содержится. Это - следствие привычек, сообщенных уму религией и придающих библейским фигурам сверхъестественный вид, что заставляет их казаться совсем не такими, каковы они в действительности *. Личность Моисея представляет, между прочим, какое-то необыкновенное смешение величия и простоты, силы и добродушия и особенно суровости и кротости, дающее, на мой взгляд, неисчерпаемую пищу размышлению. Мне кажется, что в истории нет другого лица, характер которого представлял бы соединение столь противоположных свойств и способностей. И когда я размышляю об этом необыкновенном человеке и о том влиянии, которое он оказал на людей, я не знаю, чему более удивляться: историческому ли явлению, виновником которого он был, или духовному явлению, каким представляется его личность.

* Заметьте, что, в сущности, библейские лица должны быть нам всего более знакомы, так как ничьи черты не обрисованы так хорошо. Это - одно из могущественнейших средств, которыми Писание действует на людей. Так как надо было дать нам возможность столь тесно сливаться с этими лицами, чтобы они могли влиять на самое внутреннее существо наше и тем самым подготовляли души к восприятию гораздо более нужного влияния личности Христа, то в Писании было найдено средство так ярко обрисовать черты этих лиц, что образы их неизгладимо врезаются в ум, производя впечатление людей, с которыми мы жили в близком общении. (Прим. П. Я. Чаадаева).

С одной стороны - это величавое представление об избранном народе, то есть о народе, облеченном высокой миссией хранить на земле идею единого Бога, и зрелище необычайных средств, использованных им с целью дать своему народу особое устройство, при котором эта идея могла бы сохраниться в нем не только во всей своей полноте, но и с такой жизненностью, чтобы явиться со временем мощной и непреодолимой, как сила природы, перед которой должны будут исчезнуть все человеческие силы и которой когда-нибудь подчинится весь разумный мир. С другой стороны - человек простодушный до слабости, умеющий проявлять свой гнев только в бессилии, умеющий приказывать только путем усиленных увещаний, принимающий указания от первого встречного; странный гений, вместе и самый сильный, и самый покорный из людей! Он творит будущее, и в то же время смиренно подчиняется

всему, что представляется ему под видом истины; он говорит людям, окруженный сиянием метеора, его голос звучит через века, он поражает народы как рок, и в то же время он повинуется первому движению чувствительного сердца, первому убедительному доводу, который ему приводят! Не поразительное ли это величие, не единственный ли пример?

Это величие пытались умалить, утверждая, будто вначале он помышлял лишь об освобождении своего народа от невыносимого ига, хотя и отдавали при этом должное героизму, выказанному им в этом деле. В нем старались видеть не более как великого законодателя, и, кажется, в настоящее время его законы находят удивительно либеральными. Говорили также, что его Бог был только национальным Богом и что он заимствовал всю свою теософию у египтян. Конечно, он был патриотом, да и может ли великая душа, каково бы ни было ее призвание на земле, быть лишенной патриотизма? К тому же есть общий закон, в силу которого воздействовать на людей можно лишь через посредство того домашнего круга, к которому принадлежишь, той социальной семьи, в которой родился, чтобы явственно говорить роду человеческому, надо обращаться к своей нации, иначе не будешь услышан и ничего не сделаешь. Чем более непосредственно и конкретно нравственное воздействие человека на его ближних, тем оно надежнее и сильнее; чем индивидуальнее слово, тем оно могущественнее. Высшее начало, двигавшее этим великим человеком, ни в чем не познается так ясно, как в безусловной действительности и верности тех средств, которыми он пользовался для осуществления предпринятого им дела. Возможно также, что он нашел у своего племени или других народов идею национального Бога и что он воспользовался этим фактом, как и многими другими данными, почерпнутыми им в прошлом, чтобы ввести в человеческий ум свой возвышенный монотеизм. Но отсюда не следует, чтобы Иегова не был и для него, как для христиан, всемирным Богом. Чем более он старается замкнуть и изолировать этот великий догмат в своем племени, чем более он прибегает для достижения этой цели к необычным средствам, тем яснее выступает во всей этой работе высокого ума глубоко универсальный замысел - сохранить для всего мира, для всех грядущих поколений понятие о едином Боге. Среди господствовавшего тогда по всей земле многобожия можно ли было найти более верное средство воздвигнуть истинному Богу неприкосновенный алтарь, как внушить народу, ставшему хранителем этого святилища, расовое отвращение ко всякому племени идолопоклонников и связать все социальное бытие этого народа, всю его судьбу, все его воспоминания и надежды, с одним этим принципом? Прочитайте с этой точки зрения Второзаконие и вы будете изумлены тем, какой свет оно проливает не только на систему Моисея, но и на всю философию откровения. В каждом слове этого необыкновенного повествования видна сверхчеловеческая идея, владевшая умом автора. Ею объясняются также те ужасные поголовные истребления, которые предписывал Моисей и которые так странно противоречат мягкости его натуры и казались столь возмутительными философии еще более непонятливой, чем безбожной. Эта философия не постигала того, что человек, являвшийся столь дивным орудием в руке Провидения, доверенным всех его тайн, не мог действовать иначе, чем действует само Провидение или природа; что для него эпохи и поколения не имели никакой цены, что его миссия заключалась не в том, чтобы явить миру образец правосудия или нравственного совершенства, но в том, чтобы внести в человеческий ум необъятную идею, которая не могла родиться в нем самостоятельно. Не думают ли, что, когда, заглушая вопль своего любящего сердца, он приказывал истреблять целые племена и поражал людей мечом божественного правосудия, он был озабочен лишь расселением тупого и непокорного народа, который он вел за собой? Поистине превосходная психология! Как поступает она, чтобы не восходить до истинной причины рассматриваемого

явления? Она избавляет себя от труда, совмещая в одной и той же душе самые противоречивые черты, соединения которых в одной личности ей на деле никогда не приходилось наблюдать!

Что нам за дело, впрочем, до того, почерпнул ли Моисей некоторые указания из египетской мудрости? Что за важность, если он и помышлял сначала лишь об освобождении своего народа от ига рабства? Разве от этого становится менее достоверным тот факт, что, осуществив среди этого народа идею, либо заимствованную им со стороны, либо почерпнутую в глубине собственного духа, и окружив ее всеми условиями нерушимости и вечности, какие только можно найти в человеческой природе, он тем самым дал людям истинного Бога, и, следовательно, род человеческий всем своим умственным развитием, вытекающим из этого принципа, бесспорно обязан ему?

Давид - одно из тех исторических лиц, чьи черты нам переданы всего лучше. Что может быть ярче, драматичнее, правдивее его истории, что может быть характернее его физиономии? Повесть его жизни, его возвышенные песни, в которых настоящее удивительно сливается с будущим, так хорошо рисуют стремления его души, что в его личности не остается для нас решительно ничего скрытого. При всем том впечатление, подобное тому, как мы получаем от героев Греции и Рима, он производит лишь на умы глубоко религиозные. Это опять-таки происходит оттого, что все эти великие люди Библии принадлежат к особому миру; сияние, окружающее их чело, удаляет их всех, к несчастью, в такую область, куда ум переносится неохотно, в сферу неотвязных сил, непреклонно требующих покорности, где всегда стоишь пред лицом неумолимого закона, где больше ничего не остается, как пасть ниц перед этим законом. А между тем как уразуметь развитие эпох, если не изучать его там, где обуславливающее его начало обнаруживается всего явственнее?

Противопоставляя этим двум исполинам Писания Сократа и Марка Аврелия, я хотел этим контрастом столь несходных примеров величия заставить вас лучше оценить те два мира, откуда они взяты. Прочитайте у Ксенофонта анекдоты о Сократе, отрешившись при этом, если можете, от предубеждения, связанного с его памятью; подумайте о том, как много его смерть прибавила к его славе, вспомните о -его пресловутом демоне, о его снисходительном отношении к пороку, которое он, надо сознаться, доводил иногда до удивительной степени *; вспомните различные обвинения, которые взводили на него его современники; вспомните ту фразу, которую он произнес перед самой смертью и которая навсегда запечатлела для потомства всю шаткость его мысли; вспомните, наконец, о всех несогласных, нелепых и противоречивых учениях, которые вышли из его школы. Что касается Марка Аврелия, то и по отношению к нему надо отбросить всякое суеверие; обдумайте хорошенько его книгу; припомните лионскую резню, ужасного человека, в руки которого он предал мир, время, в которое он жил, высокую сферу, к которой он принадлежал, и все средства величия, которыми он располагал благодаря своему положению в мире. Затем сравните, пожалуйста, плоды сократовской философии с влиянием религии Моисея, личность римского императора с личностью того, кто, из пастуха став царем, поэтом, мудрецом, воплотил в себя великий и таинственный идеал пророка-законодателя, кто сделался центром того мира чудес, в котором должны были свершиться судьбы человечества, кто окончательно определил глубокое и исключительное религиозное направление своего народа, долженствовавшее поглотить все его существование, и этим путем создал на земле порядок вещей, благодаря которому только и стало возможным возникновение на ней царства истины.

* Если бы я писал не к женщине, я предложил бы читателю, чтобы составить себе об этом понятие, прочесть особенно "Пир" Платона. (Прим. П. Я. Чаадаева).

Я не сомневаюсь, что вы согласитесь тогда, что если поэтическая мысль

изображает нам людей, подобных Моисею и Давиду, сверхчеловеческими существами и окружает их особым светом, то, с другой стороны, и здравый смысл, при всей своей холодности, не может не видеть в них нечто большее, чем просто великих, необыкновенных людей, и вам станет ясным, мне кажется, что в духовной жизни мира эти люди несомненно были вполне непосредственными проявлениями управляющего ею высшего закона и что их появление соответствует тем великим эпохам физического порядка, которые время от времени преобразуют и обновляют природу*.

* Впрочем, ничто не может быть понятнее огромной славы Сократа, единственного в древнем мире человека, умершего за свои убеждения. Этот единичный пример идейного героизма должен был в самом деле ошеломить народы, как нечто из ряда вон выходящее. Но для нас, видевших целые народы жертвующими жизнью за дело истины, не безумие ли так же ошибаться на его счет? (Прим. П. Я. Чаадаева).

Затем идет Эпикур. Вы понимаете, конечно, что я не придаю особенного значения репутации этого лица. Но надо вам сказать прежде всего, что, поскольку дело касается его материализма, последний ничем не отличался от идей других древних философов; разница лишь в том, что, обладая более прямым и последовательным суждением, чем большинство из них, Эпикур не запутывается, подобно им, в бесконечных противоречиях. Языческий деизм кажется ему тем, чем он - был на самом деле, - нелепостью; спиритуализм же обманом. Его физика, заимствованная, впрочем, целиком у Демокрита, о котором Бэкон где-то отозвался, как о единственном разумном физике древности, не стоит ниже воззрений на природу других естествоиспытателей его времени; что же касается его теории атомов, то если очистить ее от метафизики, она в наше время, когда молекулярная философия сделалась столь положительной, далеко не будет казаться столь смешной, как ее находили. Но в особенности его имя связано, как вам известно, с его нравственной доктриной, и она-то была причиной его дурной славы. Дело в том, однако, что о его морали мы судим только по излишествах его секты и по более или менее произвольным ее истолкованиям, сделанным после него; собственные его сочинения, как вы знаете, до нас не дошли. Цицерон, конечно, был волен содрогаться при одном имени сладострастия; но сравните, пожалуйста, это столь поносимое учение - в том виде, как его должно представлять себе, основываясь на всем, что мы знаем о самой личности его автора, и отбросив те последствия, к которым оно привело в языческом мире, так как эти последствия в гораздо большей степени объясняются общим складом ума в ту эпоху, чем самой доктриной Эпикура, - сравните, говорю я, эту мораль с другими нравственными системами древних, и вы найдете, что, не будучи ни столь высокомерной, ни столь суровой, ни столь невыполнимой, как мораль стоиков, ни столь неопределенной, расплывчатой и бессильной, как мораль платоников, она отличалась сердечностью, благоволением, гуманностью и в некотором роде заключала в себе долю христианской морали.

Никоим образом нельзя не признать того, что эта философия содержала в себе один существенно важный элемент, которого была совершенно лишена практическая мысль древних, именно элемент единения, солидарности, благоволения между людьми. Она в особенности отличалась здравым смыслом и отсутствием гордости, чего нельзя сказать ни об одном из остальных философских учений того времени. Впрочем, она и видела высшее благо в душевном мире и кроткой радости, которые являются-де на земле подобием небесного блаженства богов. Эпикур сам подал пример такого безмятежного существования; он прожил свою жизнь почти безвестным, отдаваясь самым нежным привязанностям и научным занятиям. Если бы его нравственному учению удалось вкорениться в умах народов, не исказившись под влиянием порочного начала, властвовавшего тогда над миром, то, без всякого сомнения, оно сообщило бы сердцам кротость и гуманность, которых совершенно не

в состоянии были внушить ни хвастливая мораль Портика, ни мечтательное умозрение академиков. Прошу вас также обратить внимание на то, что Эпикур - единственный из мудрецов древности, отличавшийся вполне безупречным характером, и единственный, память о котором у его учеников соединялась с любовью и почитанием, близким к поклонению *. Вы понимаете теперь, почему нам надо было постараться несколько исправить наше представление об этом человеке.

* Пифагор не составляет исключения. Это была баснословная личность, которой всякий приписывал все, что хотел. (Прим. П. Я. Чаадаева).

К Аристотелю мы не станем возвращаться. Правда, с ним связан один из важнейших отделов новой истории, но это слишком обширный предмет, чтобы трактовать его мимоходом. Прошу вас только заметить, что Аристотель в некотором роде является порождением нового ума. Вполне естественно, что в юности своей новый разум, томимый огромной потребностью в знании, всеми силами привязался к этому механизму человеческого ума, который с помощью своих рукояток, рычагов и блоков заставлял познание двигаться с поразительной быстротой. Вполне понятно также, что он пришелся так по вкусу арабам, которые первые откопали его. У этого внезапно возникшего народа не было ничего своего, на что он мог бы опереться; естественно, что готовая мудрость была для него подходящим делом. Как бы то ни было, все это уже миновало: арабы, схоластики и их общий учитель - все они выполнили свои различные назначения. Уму все это придало большую основательность и самонадеянность, ход его развития стал увереннее; он усвоил себе приемы, облегчающие его движения и ускоряющие его работу. Все сделалось к лучшему, как видите, - зло обратилось во благо, благодаря скрытым силам и озарениям обновленного ума. Теперь нам надо вернуться назад и снова вступить на широкий путь, которым сознание шло в те времена, когда оно не располагало еще никакими другими орудиями, кроме золотых и лазоревых крыльев своей небесной природы.

Обратимся к Магомету. Если подумать о благих последствиях, которые его религия имела для человечества, во-первых, потому, что вместе с другими более могущественными причинами она содействовала искоренению многобожия, затем потому, что она распространила на огромной части земного шара и даже в местностях, казалось бы, недоступных общему умственному движению, понятие о едином Боге и о всемирной вере и тем подготовила бесчисленное множество людей к конечным судьбам человеческого рода, - если подумать обо всем этом, то нельзя не признать, что, несмотря на дань, которую этот великий человек, без сомнения, заплатил своему времени и месту, где он родился, он несравненно более заслуживает уважения со стороны людей, чем вся эта толпа бесполезных мудрецов, которые не сумели ни одно из своих измышлений облечь в плоть и кровь и ни в одно человеческое сердце вселить твердое убеждение, которые лишь вносили разделение в человеческое существо, вместо того, чтобы постараться объединить разрозненные элементы его природы. Ислам представляет одно из самых замечательных проявлений общего закона; судить о нем иначе - значит отрицать всеобъемлющее влияние христианства, от которого он произошел. Самое существенное свойство нашей религии заключается в том, что она может облекаться в самые разнообразные формы религиозной мысли, способна даже комбинироваться при случае с заблуждением, чтобы достигнуть своего полного результата. В великом процессе развития откровенной религии учение Магомета необходимо должно быть рассматриваемо, как одна из ее ветвей. Самый исключительный догматизм должен без всяких затруднений признать этот важный факт, и он, конечно, сделал бы это, если бы хоть раз, как следует, отдал себе отчет в том, что побуждает нас видеть в магометанах естественных врагов нашей религии, так как лишь отсюда и проистекает предрассудок *. Вы знаете, впрочем, что в Коране

нет почти ни одной главы, в которой не упоминалось бы об Иисусе Христе. А не видеть действия христианства повсюду, где произносится хотя бы только имя Спасителя, не замечать, что он оказывает влияние на все умы, каким бы то ни было образом соприкасающиеся с его заповедями, - значит не иметь ясного представления о великом деле искупления и ничего не понимать в тайне царства Христова; иначе пришлось бы исключить из числа лиц, пользующихся милостью искупления, множество людей, носящих название христиан, - а не значило ли бы это - свести царство Христово к пустякам, а всемирное христианство к ничтожной горсти людей?

* Первоначально магометане не питали никакой антипатии к христианам; ненависть и презрение к последним развились у них лишь в результате долгих войн, которые они с ними вели. Что касается христиан, то они, естественно, должны были смотреть на мусульман сначала как на идолопоклонников, а потом - как на врагов своей веры, какими те действительно и сделались. (Прим. П. Я. Чаадаева).

Представляя результат религиозного брожения, вызванного на Востоке появлением новой религии, магометанство занимает первое место в ряду явлений, на первый взгляд не вытекающих из христианства, на деле же несомненно происходящих от него. Таким образом, помимо отрицательного воздействия, которое оно оказало на образование христианского общества, заставив различные частные интересы народов слиться в едином интересе их общей безопасности, помимо обширного материала, который арабская цивилизация доставила нашей (два обстоятельства, в которых следует видеть окольные пути, избранные Провидением с целью выполнить задачу возрождения рода человеческого), - в собственном влиянии ислама на дух покорившихся ему народов необходимо признать прямое действие того учения, из которого он проистекает и которое в этом случае лишь приспособилось к некоторым требованиям места и времени, в целях распространения семени истины на возможно большее пространство. Конечно, счастливы те, кто служит господу с полным сознанием и убеждением! Но не будем забывать, что в мире существует бесконечное множество сил, которые повинуются голосу Христа, нисколько не отдавая себе отчета в том, что ими двигает высшая сила.

Нам остается еще только Гомер. В настоящее время вопрос о том влиянии, которое Гомер оказал на человеческий ум, не оставляет больше сомнений. Мы отлично знаем, что такое гомеровская поэзия; мы знаем, каким образом она содействовала определению греческого характера, в свою очередь определившего характер всего древнего мира; мы знаем, что эта поэзия явилась на смену другой, более возвышенной и более чистой, от которой до нас дошли только обрывки. Мы знаем также, что она ввела новый порядок идей на место прежнего, выросшего на греческой почве, и что эти первоначальные идеи, отвергнутые новым мышлением и нашедшие себе убежище частью в мистериях Самофракия, частью под сенью других святилищ забытых истин, продолжали существовать с тех пор лишь для небольшого числа избранных или посвященных*; но чего, мне кажется, мы не знаем, это той общей связи, которая существует между Гомером и нашим временем, того, что до сих пор уцелело от него в мировом сознании. Между тем в этом, собственно, и заключается весь интерес настоящей философии истории, так как главная цель ее исследований состоит, как вы видели, в отыскании постоянных результатов и вечных последствий исторических явлений.

* Влияние гомеровской поэзии естественно сливается с влиянием греческого искусства, так как она представляет собою прообраз последнего; другими словами, поэзия создала искусство, которое продолжало влиять в том же направлении. Вопрос о том, существовал ли когда-нибудь Гомер как личность, для нас совершенно безразличен: историческая критика никогда не будет в состоянии изгладить память

Гомера, философа же должна занимать только идея, связанная с этой памятью, а не самая личность поэта. (Прим. П. Я. Чаадаева) .

Итак, для нас Гомер в современном мире остается все тем же Тифоном или Ариманом, каким он был в мире, им самим созданным. На наш взгляд, гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земле - все это заимствовано нами у него. Заметьте, что ничего подобного никогда не наблюдалось в других цивилизованных обществах мира. Одни только греки решились таким образом идеализировать и обоготворять порок и преступление, так что поэзия зла существовала только у них и у народов, унаследовавших их цивилизацию. По истории средних веков можно ясно видеть, какое направление приняла бы мысль христианских народов, если бы она всецело отдалась руке, которая ее вела. Следовательно, эта поэзия не могла прийти к нам от наших северных предков: ум людей севера отличался совсем другим складом и менее всего был склонен прилепляться к земному; если бы он один сочетался с христианством, то, вместо того, что произошло, он скорее потерялся бы в туманной неопределенности своего мечтательного воображения. Впрочем, от крови, которая текла в их жилах, у нас уже ничего не осталось, и мы учимся жить не у народов, описанных Цезарем и Тацитом, а у тех, которые составляли мир Гомера.

Лишь с недавнего времени поворот к нашему собственному прошлому снова приводит нас понемногу на лоно родной семьи и позволяет нам мало-помалу восстановить отцовское наследие. Мы унаследовали от народов севера одни лишь привычки и традиции; ум же питается только знанием; наиболее застарелые привычки утрачиваются, наиболее укоренившиеся традиции изглаживаются, если они не связаны со знанием. Между тем все наши идеи, за исключением религиозных, мы несомненно получили от греков и римлян.

Таким образом, гомеровская поэзия, отвратив сперва на древнем Западе ход человеческой мысли от воспоминаний о великих днях творения, сделала то же и с новым; перейдя к нам вместе с наукой, философией и литературой древних, она до такой степени заставила нас слиться с ним, что в настоящее время, при всем том, чего мы достигли, мы все еще колеблемся между миром лжи и миром истины. Хотя в наши дни Гомером занимаются очень мало и, наверно, его не читают, его боги и герои тем не менее все еще оспаривают почву у христианской мысли. Дело в том, что в этой глубоко земной, глубоко материальной поэзии, необычайно снисходительной к порочности нашей природы, действительно заключается какое-то удивительное обаяние; она ослабляет силу разума, своими призраками и обольщениями держит его в каком-то тупом оцепенении, убаюкивает и усыпляет его своими мощными иллюзиями. И до тех пор, пока глубокое нравственное чувство, порожденное ясным пониманием всей древности и всецелым подчинением ума христианской истине, не наполнит наши сердца презрением и отвращением к этим векам обмана и безумия, которые до сих пор в такой степени владеют нами, к этим настоящим сатурналиям в жизни человечества, - пока своего рода сознательное раскаяние не заставит нас стыдиться того бессмысленного поклонения, которое мы слишком долго расточали этому гнусному величию, этой ужасной добродетели, этой нечистой краеоте, - до тех пор старые дурные впечатления не перестанут составлять самый жизненный и деятельный элемент нашего разума. Что касается меня, то, по моему мнению, для того, чтобы нам вполне переродиться в духе откровения, мы должны еще пройти через какое-нибудь великое испытание, через всецельное искупление, которое весь христианский мир испытал бы во всей его полноте, которое на всей земной поверхности ощущалось бы как грандиозная физическая катастрофа; иначе я не представляю себе, каким образом мы могли бы очиститься от грязи, еще оскверняющей нашу память *. Итак, вот как философия истории должна понимать гомеризм. Судите теперь, какими глазами должна она смотреть на

личность Гомера. Подумайте, не обязана ли она ввиду этого по совести наложить на его чело клеймо неизгладимого позора!

* Для нашего времени положительным счастьем является вновь открытая с недавних пор историческому мышлению область, не зараженная гомеризмом. Влияние идей Индии уже сказывается на ходе развития философии чрезвычайно благотворным образом. Дай Бог, чтобы мы возможно скорее пришли этим кружным путем к той цели, к которой более короткий путь до сих пор не мог нас привести. (Прим. П. Я. Чаадаева).

Вот, сударыня, мы и пересмотрели всю нашу галерею лиц. Я не сказал вам всего, что имел сказать, но пора кончить. И знаете ли что? В сущности, у нас, русских, нет ничего общего ни с Гомером, ни с греками, ни с римлянами, ни с германцами; нам все это совершенно чуждо. Но что же делать? поневоле приходится говорить языком Европы. Наше чужеземное образование до такой степени заставило нас держаться Европы, что, хотя мы и не усвоили ее идей, у нас нет другого языка, кроме того, на котором говорит она; таким образом нам не остается ничего другого, как говорить этим языком. Если немногие имеющиеся у нас умственные навыки, традиции и воспоминания и все наше прошлое не связывают нас ни с одним народом земли, если мы не принадлежим, в сущности, ни к одной из систем нравственного мира, то во всяком случае внешность нашего социального быта связывает нас с западным миром. Эта связь, очень слабая в действительности, не скрепляет нас с Европой так тесно, как это воображают, и не заставляет нас всем нашим существом почувствовать совершающееся там великое движение, но она тем не менее ставит всю нашу будущую судьбу в зависимости от судеб европейского общества. Поэтому, чем больше мы будем стараться слиться с последним, тем лучше это будет для нас. До сих пор мы жили совершенно обособленно. То, чему мы научились у других, оставалось снаружи, служа простым украшением и не проникая нам в душу. Но в настоящее время силы господствующего общества настолько возросли, его влияние на остальную часть человеческого рода столь далеко распространилось, что скоро мы душой и телом будем вовлечены в мировой поток. Это не подлежит сомнению, и, наверно, нам нельзя будет долго оставаться в нашем одиночестве. Сделаем же все, что можем, чтобы подготовить путь нашим потомкам. Так как мы не можем завещать им то, чего не имели сами, - верований, образованного временем ума, резко очерченной индивидуальности, мнений, развившихся в течение долгой оживленной и деятельной умственной жизни, плодотворной по своим результатам, - то оставим им, по крайней мере, несколько идей, которые, хотя мы и не сами их нашли, все же, перейдя от одного поколения к другому, будут заключать в себе некоторый традиционный элемент и в силу этого будут обладать несколько большей силой и плодовитостью, чем наши собственные мысли. Таким образом мы окажем потомству важную услугу и не напрасно проживем на земле.

Прощайте, сударыня. Вполне в вашей власти заставить меня продолжить мои рассуждения об этом предмете, сколько вам будет угодно. Впрочем, к чему в задушевной беседе, где собеседники вполне понимают Друг друга, разрабатывать и исчерпывать до конца каждую мысль? Если того, что я сказал вам, достаточно, чтобы изучение истории могло дать вам нечто новое и возбудить в вас более глубокий интерес, чем какой он вызывает обыкновенно, я буду вполне удовлетворен

*

Некрополь, 1829, 16 февраля

* Отдавая эти письма в печать, нам следовало бы, может быть, просить читателя о снисхождении к слабости и даже неправильности слога. Излагая свои мысли на чужом языке и не имея никаких литературных притязаний, мы, конечно, вполне сознавали, чего нам недостает в этом отношении. Но мы полагали, во-первых, что в нынешнее время сведущий читатель не придает уже форме, как прежде, большего

значения, чем она заслуживает, и готов немного потрудиться, чтобы извлечь мысль, если она кажется ему стоящей того, из-под спуда самого несовершенного изложения. Затем мы полагали, что в наше время цивилизация более чем когда-либо требует распространения идей в какой бы то ни было форме и что бывают такие случаи, такие социальные условия, когда человек, полагающий, что он имеет сообщить человечеству нечто важное, лишен выбора: ему ничего другого не остается, как говорить на общераспространенном языке, хотя бы он владел лишь смешным, искаженным наречием его. Наконец, мы полагали, что литературная держава слишком благородна в настоящее время, чтобы предписывать всем своим подданным всяких местностей и широт официальный язык своего академического трибунала, и что, дорожа лишь тем, чтобы высказываемое было правдой, она не обращает особенного внимания на то, хорошо или дурно эта правда высказана. Вот на что мы рассчитывали. (Прим. П. Я. Чаадаева).

Письмо восьмое

Да, сударыня, пришло время говорить простым языком разума. Нельзя уже больше ограничиваться слепой верой, упованием сердца; пора обратиться прямо к мысли. Чувству самому по себе не проложить себе пути через всю эту грудку искусственных потребностей, враждебных друг другу интересов, беспокойных забот, овладевших жизнью. Во Франции и Англии она стала слишком сложной, слишком подвластной интересам, слишком личной; в Германии - она слишком отвлеченна, слишком эксцентрична, так что веления сердца утрачивают там свою по существу присущую им силу. А об остальном мире сейчас не стоит и говорить. Приходится ныне свести вопрос к одной, основанной на учете всех возможностей задаче, разрешение которой было бы по плечу всем сознаниям, подходило бы ко всяким настроениям, не поражало бы ничьих наличных интересов и таким образом могло бы увлечь даже самые упорные умы.

Это не значит, что предметы чувства навсегда изъяты из мира мысли. Не дай Бог, настанет вновь и их черед. И тогда мы их увидим столь сильными, широкими, чистыми, какими они еще никогда не бывали. Я не сомневаюсь, время это скоро настанет. Но в наши дни, в данной обстановке, чувствам не дано потрясать души. Очень важно проникнуться этим сознанием. Правда, сейчас заметно некоторое пробуждение живых дарований, свойственных юношеской поре человечества. Но это лишь заря прекрасного дня; равнины пока сплошь покрыты сумеречной тенью, только некоторые вершины начинают загораться первыми лучами рассвета.

Для всякого, кому истина не безразлична, явные признаки ее налицо. Знаете ли вы, сударыня, что я разумею под этими признаками? Это вся совокупность исторических фактов, должным образом проработанных. Сейчас их надо свести в стройное целое, облечь в доступную форму и так их выразить, чтобы они подействовали на душу людей, самых равнодушных к добру, менее всего открытых правде, на тех, кто еще толчется в прошлом, когда для всего мира оно уже миновало и, конечно, более не вернется, но которое еще живо для ленивых сердец, для низменных душ, никогда не угадывающих настоящего дня, а вечно пребывающих во вчерашнем.

Окончательное просветление должно вытечь из общего смысла истории. И этот смысл должен быть впредь сведен к идее высшей психологии, а именно чтобы раз навсегда человеческое существо было постигнуто как разумное существо в отвлечении, а отнюдь не существо обособленное и личное, ограниченное в данном моменте, то есть насекомое-поденка, в один и тот же день появляющееся на свет и умирающее, связанное с совокупностью всего одним только законом рождения и

тления. Да, надо обнаружить то, чем действительно жив человеческий род: надо показать всем таинственную действительность, которая в глубине духовной природы и которую пока еще усматривают только при некотором особом озарении. Лишь бы не быть слишком исключительным, мечтательным или схематичным, а главное - лишь бы говорить с веком языком века, а не устарелым языком догмата, ставшим непонятным, и тогда, без всякого сомнения, успех обеспечен, именно в наше время, когда и разум, и наука, и даже искусство страстно рвутся навстречу новому нравственному перевороту, как это было и в великую эпоху Спасителя мира.

Я вам уже не раз говорил о влиянии христианской истины на общество. Но я сказал не все. Трудно этому поверить, а между тем то, что я скажу, совсем еще новая мысль: нравственное значение христианства достаточно оценено, но о чисто умственном его действии, о могучей силе его логики почти еще не думают. Ничего еще не было сказано о том значении, которое имело христианство в развитии и в образовании современной мысли. Пока еще не осознано, что вся наша аргументация - христианская; мы все еще мыслим себя в царстве категорий и силлогизмов Аристотеля. Дело в том, что нескончаемые сетования философов и отщепенцев на те века, когда якобы всецельны были одни только предрассудки, невежество и изуверство, заставили нас совершенно упустить из виду, как благодетельно было действие веры. Так что, когда пыл неверия миновал, самые праведные и смиренные уже оказались чуждыми на собственной своей почве и лишь с большим трудом вновь водворяли в своих мыслях все на свои места. Правда, эти умы к тому же не интересуются в должной мере изучением чисто человеческой действительности. Они к этому относятся слишком пренебрежительно. По привычке созерцать действия сверхчеловеческие, они не замечают действующих в мире природных сил и почти совсем упускают из виду вещественные условия умственной деятельности. Как бы то ни было, пора современному разуму признать, что всей своей силой он обязан христианству. Пора уразуметь, что лишь при содействии необычайных средств, дарованных откровением, и благодаря той живой ясности, которую оно сумело внести во все предметы человеческого мышления, воздвигнуто величавое здание современной науки. Эта горделивая наука должна, наконец, сама признать, что она так высоко поднялась только благодаря строгой дисциплине, незыблемости принципов и, прежде всего, благодаря инстинкту и страстному исканию истины, которые она нашла в учении Христа.

По счастью, мы живем уже не в те времена, когда партийное упорство принималось за убеждение, а выпады сект - за благочестивое рвение. Можно поэтому надеяться, что удастся сговориться. Но вы, конечно, согласитесь, что не истине делать уступки. И тут дело не в требованиях этикета: для законного авторитета уступка означала бы отказ от всякой власти, всякой активной роли, уступка была бы самоуничтожением. Вопрос тут не в поддержании престижа, не в каком-либо внешнем впечатлении. Всякий престиж навсегда утратил значение, и иллюзии отошли в вечность. Дело идет о самой реальной вещи, более реальной, чем это можно выразить словами. Ведь протекшее определяет будущее: таков закон жизни. Отказаться от своего прошлого - значит лишить себя будущего. Но те триста лет, которые числит за собой великое христианское заблуждение, вовсе не такое воспоминание, которое не могло бы быть при желании стерто. Отколовшиеся могут поэтому по произволу строить свое будущее. Исконная община изначально дышала лишь надеждой и верой в обещанное ей предназначение, а они - пребывали до сих пор без всякой идеи будущего.

Необходимо, однако, прежде всего выяснить одно важное обстоятельство. Между предметами, которые способствуют сохранению истины на земле, одним из наиболее существенных является, без сомнения, священная книга Нового завета. К книге, содержащей подлинный акт установления нового строя на земле, естественно,

относятся с особым непререкаемым уважением. Слово писаное не улетучивается, как слово произнесенное. Оно кладет свою печать на разум. Оно его сурово подчиняет себе своею нерушимостью и длительным признанием святости. Но вместе с тем, кодифицируя дух, слово лишает его подвижности, оно гнетет его, втесняя его в узкие рамки писания, и всячески его сковывает. Ничто так не задерживает религиозную мысль в ее высоком порыве, в ее беспредельном шествии вперед, как книга, ничто так не затрудняет вполне прочного утверждения религиозной мысли в человеческой душе. В религиозной жизни все теперь основано на букве, и подлинный голос воплощенного разума пребывает немым. С амвонов истины раздаются только лишенные силы и авторитета слона. Проповедь стала лишь случайным явлением в строительстве добра. А между тем - надо же, наконец, прямо признать это, - проповедь, переданная нам в Писании, была, само собою разумеется, обращена к одним присутствовавшим слушателям. Она не может быть одинаково понятна для людей всех времен и всех стран. По необходимости она должна была принять известную местную и современную ей окраску, а это замыкает ее в такие пределы, вырваться из которых она может лишь с помощью толкования, более или менее произвольного и вполне человеческого. Так может ли это древнее слово всегда вещать миру с той же силой, как в то время, когда оно было подлинной речью своего века, действительной силой данного момента! Не должен ли раздаться в мире новый голос, связанный с ходом истории, такой, чтобы его призывы не были никому чужды, чтобы они одинаково гремели во всех концах земли и чтобы отзвуки и в нынешнем веке наперебой его схватывали и разносили его из края в край вселенной.

Слово - обращенный ко всем векам глагол - это не одна только речь Спасителя, это весь его небесный образ, увенчанный его сиянием, покрытый его кровью, с распятием на кресте. Словом, *гот самый, каким Бог раз и навсегда запечатлел его в людской памяти. Когда Сын Божий говорил, что он пошлет людям духа и что он сам пребудет среди них вечно, неужели он помышлял об этой книге, составленной после его смерти, где, худо ли, хорошо ли, рассказано об его жизни и его речах и собраны некоторые записи его учеников? Мог ли он полагать, что эта книга увековечит его учение на земле? Конечно, не такова была его мысль. Он хотел сказать, что после него явятся люди, которые так вникнут в созерцание и изучение его совершенств, которые так будут преисполнены его учением и примером его жизни, что нравственно они составят с ним одно целое, что эти люди, следуя друг за другом из поколения в поколение, будут передавать из рук в руки всю его мысль, все его существо: вот что он хотел сказать, и вот именно то, чего не понимают. Думают найти все его наследие в этих страницах, которые столько раз искажены были различными толкователями, столько раз сгибались по произволу.

[Как известно, христианство упрочилось без содействия какой бы то ни было книги. Начиная со второго века оно уже покорило мир. И с тех пор человеческий род был ему подчинен безвозвратно.]

Воображают, что стоит только распространить эту книгу по всей земле, и земля обратится к истине: жалкая мечта, которой так страстно предаются отпадшие.

Его божественный разум живет в людях, таких, каковы мы и каков он сам, а вовсе не в составленной Церковью книге. И вот почему упорная привязанность со стороны верных преданию к поразительному догмату о действительном присутствии тела в евхаристии и их не знающее пределов поклонение телу Спасителя столь достойны уважения. Именно в этом лучше всего постигается источник христианской истины: здесь всего убедительнее обнаруживается необходимость стараться всеми доступными средствами делать действительным присутствие среди нас Бого-человека, вызывать беспрестанно его телесный образ, чтобы иметь его постоянно перед глазами, во всем его величии, как образец и вечное поучение нового

человечества. По-моему, это заслуживает самого глубокого размышления. Этот странный догмат об евхаристии, предмет издевательства и презрения, открытый со стольких сторон злым нападкам человеческих доводов, сохраняется в некоторых умах, несмотря ни на что, нерушимым и чистым. В чем тут дело? Не для того ли, чтобы когда-нибудь послужить средством единения между разными христианскими учениями? Не для того ли, чтобы в свое время выявить в мире новый свет, который пока еще скрывается в тайнах судьбы? Я в этом не сомневаюсь.

Итак, хотя печать, наложенную человеческой мыслью, надо признать необходимой составной частью нравственного мира, настоящая основа слияния сознания и мирового развития разумного существа, на самом деле, содержится в ином, а именно в живом слове, в слове, которое видоизменяется по временам, странам и лицам и пребывает всегда тем, чем оно должно быть, которое не нуждается ни в разъяснениях, ни в толковании, подлинность которого не требует защиты на основе канонов - в слове, этом естественном орудии нашей мысли. Так что предположение, будто вся мудрость заключается в столбцах одной книги, как это утверждают протестанты, не скажу даже - неправовмерно, оно, во всяком случае, не имеет ничего общего с философией. А с другой стороны, несомненно, есть высшая философия в этих столь устойчивых верованиях, заставляющих людей закона признавать другой источник истины, более чистый, другой авторитет, менее земной.

Надо уметь ценить этот христианский разум, столь уверенный в себе, столь точный в этих людях: этот инстинкт правды, это последствие нравственного начала, перенесенного из области поступков в область сознания; это бессознательная логика мышления, вполне подчинившегося дисциплине. Удивительное понимание жизни, принесенное на землю создателем христианства; дух самоотвержения; отвращение от разделения; страстное влечение к единству: вот что сохраняет христиан чистыми при любых обстоятельствах. Так сохраняется раскрытая свыше идея, а через нее совершается великое действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну душу, в единую силу. Это слияние - все предназначение христианства. Истина едина: Царство Божие, небо на земле*, все евангельские обетования - все это не иное что, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль самого Бога, иначе говоря, - осуществленный нравственный закон. Вся работа сознательных поколений предназначена вызвать это окончательное действие, которое есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалиптический синтез **.

*Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном.

Матфей, XVIII, 2-4

** Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся.

Второе послание к Тимофею, III, 1-6

КОНЕЦ